

ЛЮБКИН

(по мотивам романа Н. Нарокова
«Мнимые величины»)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Любкин Ефрем Игнатьевич — начальник управления НКВД.
Супрунов Павел Семенович — его заместитель.
Шептарева Евлалия Григорьевна.
Володеев Григорий Михайлович — ее отец.
Софья Дмитриевна — их соседка.
Кудрявцева Елена Дмитриевна.
Терпугов — начальник следственного отдела.
Яхонтов — следователь.
Бухтеев — следователь.
Варискин — подследственный.
Миролюбов
Русаков
Козаков
Рыжий парень
Зворыкин
Кораблев
Осипов
Смыкин
Энкогнито
Никитин — комендант тюрьмы.
Офицант.
Сотрудники НКВД, караульные, арестованные, соседи Володеевых.

{ — сокамерники Володеева.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Картина первая

На сцене полная темнота, только яркие автомобильные фары. В их лучах мечется женщина. Она вправо — и фары вправо, она влево — и фары влево. Скрип тормозов, легкий вскрик женщины. Она упала. Сцена освещается. Декорация представляет из себя кольцо, состоящее из дверей. Когда это двери квартир, они разнообразные, красные или обитые чем попало. Когда это двери соответствующего учреждения, все одинаково обиты дорогой кожей. Сейчас это двери квартир. По коридору добротно одетый мужчина ведет под руку прихрамывающую женщину. Видимо, ее сбила машина.

Женщина. Спасибо, спасибо, я дойду.

Мужчина. Нет уж, виноват, помогу... Сильно ушиблись?

Женщина. Совсем легко.

Мужчина. Испугались?

Женщина. Испугалась.

Мужчина. А я больше вашего. Да, да... Я, знаете, когда-то железнодорожным машинистом был, стало быть, на паровозе ездил... Давно...

Разговаривая, входят в помещение.

Случилось раз — человека переехал. Еду, знаете, на товарном, скорость большая, под уклон было. Глянул в окно: человек прямо по полотну идет. Глухой, что ли, не слышит. Я за гудок, за тормоз, — тут ведь секунды. И бряк!

Женщина. Вы садитесь, пожалуйста.

Мужчина. Спасибо. (Сел.) И вот уж как хотите, так и понимайте. Только когда паровоз на него налетел, меня так замутило, — выблевал. Вдруг все увидел. Как кости дробились, как мясо плющилось, кишки выдавливались... А чем увидел? Не глазами же.

Женщина. Я понимаю это — видели.

Мужчина. Такие, как вы, я вижу, умеют понимать это самое — необъяснимое... На другую работу тогда ушел... А теперь вас чуть не задавил. Испугался. Понимаете? (Пристально смотрит на нее.) Служите?

Женщина. В облмостпроме, машинисткой.

Мужчина. Площадь Карла Маркса, 3. У Чубука?

Женщина. Да. Он начальник.

Мужчина. Ну что же, если уж на то пошло — стал гостем, давайте познакомимся. Имя отчество ваше как будет?

Женщина. Евлалия Григорьевна.

Мужчина. Евлалия? Неужто в самом деле Евлалия?

Евлалия. Почему вы так изумились? Имя, правда, довольно редкое.

Мужчина. Да, редкое... А я... Это, впрочем, неважно... А фамилия ваша?

Евлалия. Шептарева.

Мужчина. Ну вот... (*Оглядел комнату любопытствующим взглядом.*) А я Семенов Павел Петрович, сорок шесть от роду, партийный, родственников за границей нет. А служу я...

Пауза.

Евлалия. Нас здесь трое — папа, сынишка и я.

Семенов. А муж где работает?

Евлалия. Мужа нет.

Семенов. Разошлись, что ли? Или репрессирован?

Евлалия. Он... он... его еще два года тому назад арестовали.

Семенов. Так, так... Сынишка-то большой?

Евлалия. Скоро пять будет.

Семенов. А отец служит где-нибудь?

Евлалия. Нет. Папа... он совсем больной.

Семенов. Стало быть, трудно жить. Ставка поди ерундовая?

Евлалия. Двести сорок.

Семенов. Ну и вычеты... заем, подоходный, то да се. На руки рублей двести?

Евлалия. Двести.

Семенов. А что это — машинки не вижу. Машинистка, а машинки нет.

Евлалия. Нет...

Семенов. А если частная работа попадается, вы что — на местпромовской стучите?

Евлалия. Нет.. как же на местпромовской... неудобно.

Семенов. Какое же тут неудобство?

Евлалия. Ну все-таки...

Семенов (*вставая*). На Ваську моего не жалуйтесь. Он шофер хороший, но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Да и вы как-то странно: Васька машину влево — и вы влево, он от вас вправо — и вы вправо.

Евлалия. Растрялась.

Семенов (*смеется*). Думал, под машину бросаетесь.

Евлалия. Извините.

Семенов. Живая, вот и ладно... Все! До свидания. (*Пошел. У самой двери остановился и добавил.*) А если я к вам еще раз приду, можно? (*Не дожидаясь ответа.*) Я загляну. (*Вышел.*)

Семенов идет по коридору. Навстречу — с сумкой в руках Григорий Михайлович. Прошли мимо друг друга.

Григорий Михайлович (*входя в комнату*). Кто это тебя посетил?

Евлалия. Семенов Павел Петрович.

Григорий Михайлович. Кто таков?

Евлалия. Не знаю. Я на улице оступилась... ногу подвернула... Он помог... довел.

Григорий Михайлович. Похоже, высокопоставленный грансеньор с партийным билетом. (*Прищурился и гадко улынулся.*) Еще зайти обещал?

Евлалия. Не знаю... может быть...

Григорий Михайлович прошел в другую комнату.
Евлалия подошла к двери соседки, постучалась.

Софья Дмитриевна!

Дверь открыла маленькая старушка.

У вас йоду не найдется?

Софья Дмитриевна. Конечно, конечно, сейчас принесу.

Евлалия прошла к себе. Софья Дмитриевна с пузырьком быстро входит в ее комнату.

Евлалия. А Шурик?

Софья Дмитриевна. Он у Капустиных. Они с ее мальчиком клеют что-то. Я его покормила. Прекрасно кушал.

Евлалия. Вам трудно с ним?

Софья Дмитриевна. Что вы!

Евлалия. Я бы хотела немножко заплатить вам.

Софья Дмитриевна. Что вы, Евлалия Григорьевна! Я, слава богу, дружбой не торгую.

Евлалия. Спасибо... Какая вы...

Победной походкой входит Григорий Михайлович. Увидев Софью Дмитриевну, слегка поморшившись, буркнул.

Григорий Михайлович. Здравствуйте.

Софья Дмитриевна (*спокойно*). Здравствуйте, Григорий Михайлович. (*Ушла.*)

Григорий Михайлович (*у него в руках яркая консервная банка*). Видала?

Евлалия. Что это?

Григорий Михайлович. Омар. Английский. Даже посмотреть приятно. Импортная вещь.

Евлалия. Омар?

Григорий Михайлович. Из Торгсина... Можно сказать, маленький подарочек. (*Обтер банку, вскрыл ее. Достал вилку, поддел кусок, с наслаждением жует. Поддел еще маленький кусочек.*) Попробуй! Это совсем неплохо, черт возьми!

Евлалия робко взяла в рот кусочек омара и как-то с трудом проглотила.

Вкусно? Хочешь еще?

Евлалия. Спасибо, папа. Оставлю Шурику.

Григорий Михайлович (*отбирая у дочери кусочек, который было поддел на вилку*). Ну уж, пожалуйста, рылом он не вышел, чтобы омары есть. (*Видит, что Евлалия чуть не плачет.*) Прекрати эту комедию, безобразие! Спокойно поесть не дадут! (*Ушел к себе.*)

Картина вторая

Комната Евлалии. Григорий Михайлович вскрывает конверт, читает письмо.
Входит Евлалия.

Григорий Михайлович. Полюбуйся, каков презент. (*Показывая на пишущую машинку в чехле.*) В наше время влюбленные подносили предметам страсти жемчуга и бриллианты, а в ваше сверхидиотское время — пишущую машинку.

Евлалия. Откуда?

Григорий Михайлович. Утром явился какой-то милостивый государь и принес. Спросил: что сие означает? Тот буркнул нечто нечленораздельное, сунул письмо и изрек: тут все сказано. Вот оно. (*Читает письмо.*) «Мне нужно, чтобы вы напечатали мне одну работу, а так как у вас машинки нет, то пусть вот эта покамест постоит у вас. П. Семенов». И ни одной запятой, «вы» с маленькой буквы и «покамест» с мягким знаком на конце. И почерк, мягко выражаясь, невыработанно хамский... Впрочем, подработать лишний рубль, право, не плохо.

Евлалия. Там не написано, когда он зайдет?

Григорий Михайлович. Надо полагать, поторопится. Во всяком случае проследи, чтобы в комнате было чисто. И... (*Достает портрет Сталина и прикладывает к стене.*) Надо же этому твоему Семенову кость бросить, пусть грызет, наслаждается. Да и неудобно... Везде этот идиотский кульг Сталина — отец народов и прочие пошлисти... Еще подумает, чего доброго, что мы против.

Евлалия. Папа, я не возьму у него работу.

Григорий Михайлович. Что?

Евлалия. Пойми, папа, это не работа, а подачка, я чувствую.

Григорий Михайлович. Глупости! Совершенно ненужная щепетильность!

По коридору идет Семенов. Стучит в дверь

Он! (*Инстинктивно поправил скатерть на столе, подвинул стул.*)

Евлалия (*открывает дверь. На ходу бросает отцу*). Ни за что не возьму работу.

Семенов. Здравствуйте. (*Моментально заметил портрет Сталина на стене и что-то хмыкнул.*) Машинку получили?

Евлалия. Да, спасибо. Но я...

Семенов. У меня тут работа есть. (*Открывая портфель.*) Может быть перепечатать? Листов четыреста, кажется, будет.

Евлалия. Я... Я, право...

Семенов (*не давая договорить*). Это не к спеху, но будет лучше, если поторопитесь, есть и другая работа. Оплачивается хорошо. Там... (*Кивнул куда-то в сторону.*) Денег много. Вот! (*Достал из портфеля толстую рукопись.*)

Евлалия. Но я...

Семенов. Я у них аванс взял. Может быть, понадобится вам. Двести рублей. (*Вынул деньги, положил на рукопись.*) Когда перепечата-

ете, тогда полный расчет. Они по два рубля за лист платят. За месяц справитесь?

Евлалия. Но я...

Семенов. За бумагу и копирку представьте особый счет... Так справитесь за месяц?

Евлалия. Я... Я, вероятно, успею и недели через три...

Семенов. Работы много, и вы здорово подработать можете. (*Повернулся к Григорию Михайловичу, смотрит на него пристально.*) Работаете где-нибудь?

Григорий Михайлович. Я? Нет. Я сейчас не работаю, потому что... Надо ведь, знаете, чтобы кто-нибудь по дому оставался. Хозяйство хоть и небольшое, но все-таки... Ребенок у нас. Не на кого оставить.

Семенов. Ладно, вам виднее. (*Обращаясь к Евлалии, показывая на портрет Сталина.*) А это у вас новость, что ли?

Григорий Михайлович. Нет, почему же новость! Он постоянно здесь висит у нас, но... но... (*К дочери.*) Может быть, угостила бы чаем?

Семенов (*резко*). Нет, не надо чаю. Ухожу.

Григорий Михайлович. Ну что же вы так, посидите.

Семенов (*угрюмо*). Времени нет. (*Взял портфель, ушел.*)

Григорий Михайлович. Это прекрасно, это же прекрасно! Тут, стало быть, рублей на восемьсот выходит. И ты, конечно, постараися. Он же еще работу даст. Это чудесно, это прямо-таки не просто чудесно, а само чудо!

Картина третья

Те же двери, но обитые дорогой коричневой кожей. Около зала заседаний. Работники НКВД стоят, курят. Разговаривают как бы безразличным тоном. Бросают реплики.

- Любкин его фамилия.
- Ефремом зовут.
- Ефремом Игнатьевичем.
- Чрезвычайные полномочия в Москве получил от самого Ежова Николая Ивановича.
- Подтягивать будет.
- Здесь проявят себя, получит особое назначение по иностранной линии.
- Своих людей привез?
- Одного. Супрунова.
- Как звать?
- Павел Семенович.
- Они оба с двадцатого года в ЧК.
- Ого!
- Чего же он нас две недели не собирал?
- Занят. Разбирался.
- Ну, держись!
- А бабу, говорят, уже завел.
- Заткнись!

- Ну и что? Будь хоть самый разначальник, а без бабы нельзя.
- Говорят, предстоит большие аресты военных чинов нашего округа.
- Мало ли что болтают.
- Троцкистско-зиновьевское охвостье всю страну оплело. Всюду пролезли.

Видимо, стоявшие заслушали шаги. Один за другим тушат папиросы. Быстро вошли в зал занимать места. Входит Любин. Он в форме комиссара госбезопасности I ранга, в орденах, в начищенных до блеска сапогах. Вместе с ним, чуть позади, довольно грузный мужчина. Это Супрунов. Зашли за стол президиума.

Любин. Здравствуйте, товарищи чекисты!..

Зал ответил общим гулом. Любkin сел.
С краю стола Супрунов.

Я, товарищи, вас долго не задержу! Речей произносить не стану, и прений мы здесь открывать не будем. И говорить я буду прямо, а если кому-нибудь что-нибудь не понравится, так я, предупреждаю вас, с этим считаться не стану.. В Москве мне прямо сказали: ваше управление, почтый, на последнем месте по наркомату. И, стало быть, мне надо с вами ругаться. Но я ругаться не буду. Дело сейчас в том, чтобы с завтрашнего дня все пошло по-иному, и оно по-иному пойдет, будьте в этом уверены. А если у кого-нибудь оно по-иному не пойдет, то я и тогда ругаться не буду, а сделаю коротко. Объяснений и оправданий выслушивать не стану, на всякие объективные причины буду плевать, а стану прямо хватать за шиворот... Два слова, так сказать, принципиального порядка. Скажу коротко, а вы ловите на лету и понимайте сразу. Партия ставит перед органами НКВД государственную задачу первостепенной важности: уничтожить всех врагов народа. Всех — сегодняшних и завтрашних. Если кто думает, будто он понимает, кто такие эти враги народа, и будто он понимает цель поставленной задачи, пусть думает, греха в том нету, но и надобности, скажу прямо, тоже нет. А если кто ничего не понимает, то это еще лучше... Повторяю, задача государственная. Во имя нее надо уничтожить не только всех врагов народа, а и всех, кто с врагами одним воздухом дышал. Понятно?.. Об усталости вы мне лучше не говорите, о нервах сами забудьте. Ежедневно арестовывать минимум по пять человек на отделение! Представить мне план размещения арестованных. О площади пола и о кубатуре не вспоминать, а пихать в камеры, пока стены выдерживают. Следствий не затягивать, говорилю не заводить, обвинений оформлять по-стахановски. Как вы будете добиваться признаний и оговоров, это ваше дело, я в ваши способы нос совать не буду. Если потом придется за ваши методы отвечать, то отвечать будете вы, не я. Специальные курсы проходили? Инструктаж имели? Опытом обменивались? Всякое неумение буду рассматривать как вредительство на боевом фронте НКВД. Пересолить не бойтесь, а вот если кто недосолит, пусть сам за револьвер хватается и стреляется... Расходись, ребята. Больше говорить не о чем. Нужные инструкции получите у начальников отделов, а здесь болтологией заниматься нечего. Конец. Товарищу Сталину ваше чекистское ура!

Все встают с мест и подхватывают «ура». Они кричат долго, не могут или боятся остановиться. Кричат до тех пор, пока Любkin и Супрунов не ушли. И «ура» оборвалось сразу.

Картина четвертая

КАБИНЕТ ЛЮБКИНА

Любин (*по телефону*). Супрунов! (*Кладет трубку.*)

Через минуту входит Супрунов. Встал перед Любкиным навытяжку.

Нет, нет, Павлуша, я не по-служебному позвал тебя, я так... Поговорить хотелось бы. (*Осмотрел комнату, как бы что-тоща. Снял телефонную трубку, положил на стол.*) Понатыкали поди всякой сволочи! Бери кресло, пойдем вон в тот угол. (*Взяли кресла, уселись в углу кабинета.*) Расскажи мне про Яценко, в чем там дело?

Супрунов. Дело темное.

Любин. Все же.

Супрунов. Если коротко, надо полагать, просто не выдержал. Вот и застрился. Мало ли нашего брата не выдерживает. Кто таким способом, а кто с ума сходит... Отходы, так сказать, производства.

Любин. Выдергут ли здешние? Дело у нас начинается большое. Гайки я заверну крепко. Выдергут ли кишку у них?

Супрунов. Должна выдержать.

Любин. Тут ведь одного послушания или страха за себя мало. Уверенность. Губим мы людей, сами знаем, но нужно. (*Понизив голос.*) Очень ребята на следствиях зверствуют?

Супрунов. Кто как. Конечно, добиваются признания как умеют, но больше только бьют, а на всякие другие фокусы мало кто пускается. Но не без этого. Телятников способ придумал: в ноздрю карандаш вставляет и книгой по этому карандашу снизу вверх бьют. (*Встал, потушил верхний свет, зажег настольную лампу. В комнате почти темно.*) А зачем все это?

Любин. Что все?

Супрунов. Да вот это — кампания эта ежовская. Зачем она? Какая цель? Тебе в Москве объяснили?

Любин молчит.

Знаешь?

Любин. Я в Москве спрашивал...

Супрунов. Ну?

Любин. Молчат. По-моему, спроси самого Ежова или Сталина, тоже не объяснят. Тут, по-моему, не разум, вроде бы инстинкт.

Супрунов. А сам-то ты как понимаешь?

Любин. Послушание. А еще вернее — подчинение.

Супрунов. Чье подчинение? Кому?

Любин. Вообще. Ты сам рассуди, Павлуша. Вот, скажем, колхозы. Для чего их ввели? Объяснение, конечно, есть: надо всякое зерно государственным сделать. Но ведь зерно государственным можно сделать иначе, мужиков не разорять, в Колыму не засыпать, тысячами

не расстреливать. Государственное зерно это не на-сто-я-щее. А настояще в том, чтобы мужик почувствовал: с ним что хотят, то и сделяют.

Супрунов. Дальше.

Любкин. Возьмем стахановщину. Ты думаешь, ее для повышения производительности труда завели? Повышение, конечно, правильная цель, но... не настоящая. Настоящая, Павлуша, чтобы рабочий знал: должен он работать так-то, то есть по-стахановски. Чтоб кишки лезли, не как-нибудь иначе, не по-своему. Надо ему в башку вбить, что никакого «по-своему» у него нет и быть не может.

Супрунов. Дальше, дальше!..

Любкин. А дальше ничего и нету, все. Настоящее — оно в том, чтобы сто восемьдесят миллионов человек в подчинение привести. Единство должно быть. Государство нового типа — единство. Вот это и есть на-сто-я-щее!

Супрунов. Что же?

Любкин. Ежовская эта кампания в том и состоит. Нам с тобой поручено к этому людям довести. Чтобы они, чуть только перед ними хомут поставят, сами в этот хомут полезли. Подчинение! Чтоб он, сущин сын, по своей воле в хомут лез и думал, что в этом хомуте его счастье.

Супрунов. Кому подчинение?

Любкин. А вот этого я не знаю, Павлуша.

Супрунов (зло). Не знаешь? Очень даже знаешь. Коммунистической партии подчинение!

Любкин. Да ведь коммунистическая наша партия... она ведь тоже уже подчинена! Она ведь тоже в хомут полезла, да так полезла, что думает, будто этот хомут — это она сама и есть.

Супрунов (не выдергивая). Ну-ну! Молчи!

Любкин (в волнении). Я и молчу! Обвинительные заключения подписываю, на тройке докладываю, сколько человек надо уничтожить, уничтожаю и... молчу. Но только в меня такая мысль залезла: если нашей коммунистической партии завтра прикажут выкинуть из Мавзолея труп Ленина и проклясть Карла Маркса, она и выкинет, и проклянет, и заплюет. И не потому, что послушается, а потому что будет думать, будто это она сама так хочет.

Супрунов. После того, как ежовская кампания пройдет, кому подчинится?

Любкин. Большевизму. Вот он-то и подчиняет себе все... А вот зачем большевизм?

Супрунов. Ты когда мальчишкой был, любил лошадьми править?

Любкин. А как же!..

Супрунов. То-то! Вожжи в руках... великое дело. В них все.

Любкин. Вожжи, конечно, сейчас в наших руках.

Оба немного помолчали.

Ну, довольно языком чесать.

Супрунов встал, зажег верхний свет. Любкин включил телефон. Кабинет принял обычный рабочий вид.

А я, знаешь, на днях чуть женщину не задавил.

Супрунов. Бывает...

Любкин. Евлалией зовут. Забавно.

Супрунов. Чудное имя, верно.

Любкин. Еще одну знал. В детстве. Помещичий сад недалеко от нас был. Иду раз мимо, — в лес за малиной шел, — а в саду барышня гуляет, лет пятнадцати, нарядная. Глянул я на нее и остолбенел. Что-то во мне случилось. Стою, глаз оторвать не могу. А она, видать, взгляд мой почувствовала. Обернулась, смотрит на меня, и вдруг улыбнулась. Чудно! Тут ей кто-то закричал: «Евлалия, завтракать!» Она и умчалась... Смешно... Эта как сказала «Евлалия», я вдруг ту вспомнил. Чепуха, а? (Пошел к столу, сел, вынул бумаги.)

Супрунов (встал). Ладно, не будем ковырять мозги. Наше дело маленько.

Картина пятая

Комната Елены Дмитриевны Курдячевой, нечто вроде будуара. Елена Дмитриевна сидит на диване, в руках книга и толстый словарь. Без стука входит Любкин.

Любкин. Здравствуй.

Елена бросила на диван книгу, подошла к Любкину.

Держи! (Протянула ей сверток.)

Елена. Что это?

Любкин. Духи. Французские.

Елена (взяв фланкон). Нет, я ими душиться не буду.

Любкин. Чего так? Нехороши, что ли?

Елена (нюхая фланкон). Очень даже хороши. Поэтому и не буду, что хороши.

Любкин. Как так?

Елена. Я преподаю в советской школе. Там все должны быть одинаковы. И так, оттого что выгляжу иначе, чем эти грымы, они со злобы зовут меня за глаза «Донна Стервоза».

Любкин (хочет). А ведь ты в самом деле стерва!

Елена. Я не скрываю.

Любкин. В тот раз я запамятали... (Вынимает из кармана бумажник, достает деньги. Отсчитал, положил на стол.) Твои.

Елена (зло). Было бы лучше, если бы ты эти деньги клал в конверт и незаметно оставлял где-нибудь в комнате.

Любкин. Зачем это?

Елена. Не понимаешь? В таком случае давай мне зарплату прямо в руки. Расписку надо? Могу дать.

Любкин. Расписки не надо... Горжетку чернобурую хочешь?

Елена. Я не жадная.

Любкин. Ты жадничай, не стесняйся. У нас много чего есть. (Пошли к дивану, сели.) Что ты тут целыми днями делаешь?

Елена. А ты?

Любкин (сухо). Что я тебе раз и навсегда сказал? Заговоришь о моих делах, встану и уйду, навсегда.

Елена. Извини. А если ты сам заговоришь?

Любкин. Не заговорю.

Елена. А все же? Ну, скажем, когда пьяный?

Любкин. Заговорю — останови.

Елена. Но ведь я стерва, что тогда скажешь?

Любкин. Тогда скажу: «Жри, собака, пользуйся случаем!»

Елена. Мне в тебе тоже многое не нравится.

Любкин. К примеру?

Елена. Все. И Ефрем, и Игнатьевич, и Любкин. Особенно Любкин. Так сразу и видно: была какая-то девка Любка, которая родила незаконного сына, и сына этого стали по ней называть «Любкин сын». Любкин! Так?

Любкин (равнодушно). Может быть, и так.

Елена. Ты деревенский?

Любкин. Пензяк... Так что ты тут делаешь?

Елена. От нечего делать учу английский. Тетради проверяю. Может, мне бросить школу?

Любкин. Пока я тут, тебе школа, конечно, не нужна, но... Меня ведь перевести отсюда могут, что тогда будешь делать? На что станешь жить? Без работы нельзя.

Елена (насмешливо). Какой заботливый!

Любкин. Заботливый — не заботливый... Я ведь здесь ненадолго.

Елена. Да, ты говорил. Тебя, кажется, в Румынию назначат?

Любкин. Когда это я говорил? Я такого не говорил.

Елена. Давно уж, не помню.

Любкин. Разве? Пьян я был, что ли?

Елена (равнодушно). Может быть, и пьян. Не помню, говорю тебе... А если тебя в самом деле в Румынию назначат, ты меня с собой не возьмешь?

Любкин. Мне с тяжелым багажом невозможно.

Елена. А я тяжелая?

Любкин. Для моего дела всякая лишняя тяжесть тяжела. (Обнимая Елену.) Пьянишь ты здорово... Что оно в тебе такое?

Елена. Я рафинэ.

Любкин (не поняв). Ну и пусть. (Посмотрел на часы.) У меня на все сорок минут. Пойдем. (Ушли за занавеску.)

Темнота.

Картина шестая

Комната Евлалии Григорьевны. Евлалия и Софья Дмитриевна.

Евлалия (собирая страницы рукописи). Четыреста страниц. Ведь это же восемьсот рублей, Софья Дмитриевна! Ну, двести я уже получила. Вы знаете, все разошлись, да и папа у меня взял. Но все равно еще шестьсот получу. Вы подумайте только: шестьсот! Ботиночки

Шурику на толкучке поищу, шапочку теплую, перчаточки, может быть, где-нибудь раздобуду. Он у меня теперь каждый день будет по два яйца съедать и масло стану покупать.

Софья Дмитриевна. С вашим папашей не очень-то раскупитесь, голубенькая. Он у вас денежки вот как слизнет, и не заметьте!

Евлалия. Ну что вы! Напрасно так думаете, будто он...

Софья Дмитриевна. Ничего не напрасно! Я ведь все знаю. От меня вам скрывать нечего. Я вам вот что посоветую: не оставляйте вы денег дома, не держите их на виду.

Евлалия (вспыхнув). Софья Дмитриевна!

Софья Дмитриевна. Я уже шестьдесят восемь лет Софьей Дмитриевной зовусь, а вам нечего от меня прятаться и меня стыдиться. Сами, небось, знаете, не хуже меня, видели, наверно.

Евлалия. Нет, нет, вы ошибаетесь...

Софья Дмитриевна ушла к себе.

Евлалия положила в сумку пустые молочные бутылки, заперла дверь, ушла. Софья Дмитриевна выходит из своей комнаты, идет по коридору. Навстречу ей Любкин.

Любкин. Гражданка Шептарева дома?

Софья Дмитриевна. Нету. И Григория Михайловича тоже нету. Евлалия Григорьевна сейчас вернется, она за молочком пошла, тут близко. Может, подождете?

Любкин (подумав). Пожалуй, подожду.

Софья Дмитриевна. Только вот придется вам у меня в комнатке подождать, ихня на ключ заперта. У нас, знаете, не запирать нельзя, мало ли что...

Любкин. У вас подождать? А где это?

Софья Дмитриевна. А вот сюда, пожалуйста, прямо... Комнаточка у меня, правду сказать, крохотная, но два человека поместятся. Вот сюда, пожалуйста... (Проводит Любкина в свою комнату.) Садитесь, прошу вас!

Любкин осматривает комнату. Остановил внимание на иконах.

(Заметив его взгляд.) Это моей бабушки покойной! Вот они у меня и висят всю жизнь, потому что я очень в Бога верю.

Любкин. Такой, как вы, и надо.

Софья Дмитриевна. Сейчас, как вы знаете, всякая вера в Бога запрещается, даже, можно сказать, преследуется, злодеи даже на каторгу за веру посылают, а вы, хоть вы, видать, и партийный коммунист, рассуждаете вполне правильно.

Любкин. А разве партийные коммунисты не вполне правильно рассуждают?

Софья Дмитриевна. Не понимаю я в этом ничего.

Любкин. И лампадка висит.

Софья Дмитриевна. По субботам на вечер зажигаю, а по воскресеньям — с утра.

Любкин. А почему ж не каждый день?

Софья Дмитриевна. Средства никак не позволяют.

Любкин. А ведь когда лампадка горит, теплее, а?

Софья Дмитриевна. Конечно, теплее. И голубенькая тоже любит. В субботу вечером обязательно у меня сидит. Пустите, говорит, Софья Дмитриевна, душа немного погреться.

Любкин. Какая голубенькая?

Софья Дмитриевна. А Евлалия-то Григорьевна!

Любкин. Что это вы ее голубенькой называете?

Софья Дмитриевна. А как же... Она ведь голубенькая!

Любкин (*подумав*). А я какой? Черный?

Софья Дмитриевна. А этого я не знаю. Хоть каждый человек непременно свой цвет имеет, но только не всегда можно сразу этот цвет понять в нем.

Любкин. А ведь голубенькой тяжело живется!

Софья Дмитриевна. Еще как тяжело! Одно дело, что муж в ссылке, другое дело — средств нету, третье — сынишка, а четвертое — отца на шее, как тяжелый жернов, носит. Он у нее такой Сахар Медович — хуже, кажется, сыскать нельзя.

Любкин. Что так?

Софья Дмитриевна. Да он раньше какой-то важный чиновник был и воображает. Ох, прости меня, Господи, когда она от него избавится, сразу легче станет. Вот как говорят теперь: паразит. Жена жива была, ее трудом жил, ничегошеньки не работал, потом зятю на шею сел, а теперь вот дочери век заедает... от родного внука кусок отнимает.

Любкин. А голубенькая что?

Софья Дмитриевна. А что же она... «Он ведь папа!» — только и слов у нее. Не знаете вы ее!

Любкин (*негромко*). Нет, знаю.

Софья Дмитриевна. Вы вот сейчас работу ей предоставили! Очень вы хорошо сделали! Глазки-то у нее светились стали. А раньше только плакали, так, знаете ли, тихо-тихо... Смотрю, бывало, вижу, слезки-то катятся, катятся, а вытереть-то некому.

Любкин (*после паузы*). Вытрем.

Софья Дмитриевна. Ох... Хоть бы наполовину вытерли... Ежели за вами перед Богом есть какие-то грехи, то смело на суд его идите, коль слезы эти вытереть удастся.

Любкин. Грехи?.. а может быть, и нету никаких грехов вовсе. Все это одни выдумки.

Софья Дмитриевна. А это уж пускай вам душа ваша скажет. Это в душе нашей!

Любкин. Да ведь никакой души в человеке нет совсем! Какая душа? Нету ее, мамаша... твердо. (*Засмеялся*.) Забавно... Чуть подумаю, что никакой души нет, так сейчас же душа во мне криком кричит: «Нет, сукин сын, есть я!» А? Что это такое? Как это понять?

Софья Дмитриевна. Вот это оно самое и есть.

Любкин (*после паузы*). Хорошо у вас.

Софья Дмитриевна. Да чего хорошего...

Любкин. Точно тесные сапоги снял... А слезки вытрем. Все не все, а парочку вытрем.

Софья Дмитриевна. Вытрайте! Хоть в наше время о помощи ближнему мало думают, но...

Любкин. Мало? А вон пишут: «Жить стало лучше, жить стало веселей, товарищи».

Софья Дмитриевна. Люди какие-то другие стали. Не поймешь их.

Любкин. Понять бывает трудно. Вот я несколько дней тому назад паренька одного видел. Вздор, пустяки, ничего особенного, а понять я его никак не могу. Можно рассказать?

Софья Дмитриевна. Конечно. Что это за парень такой?

Любкин. Был я, знаете, в одном учреждении. Кончил дела, спускаюсь по лестнице, а там в углу около раздевалки паренек стоит и около него двое или трое... И он им что-то такое очень радостно рассказывает. И слышу я, хвастается: купил себе в универмаге новые ботинки. Понятно: редко ведь бывает, чтобы в магазине обувь была. И он эти ботинки не только в руках держит, а гладит их, щупает, нюхает, чуть ли не целует. Обалдел, видимо, от радости. Я его и спрашиваю: «Очередь-то большая была? Трудно было до ботинок-то добраться?» А он даже загорелся весь от восторга: «Да нет, говорит, совсем легко. Часа в четыре ночью встал в очередь, а сейчас вот и получил уже!» А был тогда, надо вам сказать, третий час дня.

Софья Дмитриевна. Ну?

Любкин. Все. Больше ничего.

Софья Дмитриевна. Так что же?

Любкин. Очень даже «что же!» Ведь не врал же он, не притворялся, а сказал, как чувствует: «Совсем легко!»

Софья Дмитриевна. Так что же такое?

Любкин. А такое, что это даже удивительно. Что же, хочу я знать, в мозгу у этого паренька! Вместо того, чтобы от злобы матом всех крыть, что вот, мол, сколько труда надо, чтобы такую ерундovую вещь сделать — паршивые ботинки себе купить, он искреннее в восторг приходит: «Совсем легко!» А?

Софья Дмитриевна. А почему же нет? Очень даже просто. Если из человека одно понимание вынули, а совсем другое в него вложили, вот он по-другому и понимает.

Хлопнула входная дверь.

Пришла, кажется.

Любкин (*встал со стула*). До свиданья, Софья Дмитриевна, кажется?

Софья Дмитриевна. А вы, я так понимаю, товарищ Семенов будете?

Любкин. Он самий.

Попрощавшись за руку, Любкин прошел к двери Евлалии Григорьевны, постучал и сразу вошел. Но вместо Евлалии увидел Григория Михайловича.

Григорий Михайлович (*расплываясь в улыбке*). Очень приятно, очень приятно. А мы с Лалой даже сегодня вспоминали вас. Ее, к сожалению, нет сейчас дома, но... (*Подставляет Любкину стул*.)

Любкин. Да нет! Коли нет дома, так я уйду.

Григорий Михайлович. Помилуйте! Она с минуты на минуту придет. Ваша работа готова. День и ночь, можно сказать, мы с дочерью работали, лишь бы не опоздать... Вот даже немного до срока, как видите!

Любкин. Что же? Вы тоже работали?

Григорий Михайлович. Ну... помогал ей, чем мог... диктовал, знаете... Я бы отдал вам вашу работу, но, к сожалению, совсем не знаю, куда Лала положила ее! Она сейчас-сейчас придет. Ей, знаете ли, будет приятно самой отдать вам работу. Она так благодарна вам за помочь, право, и сказать трудно. В наше время редко встречается отзывчивое отношение к людям и потому...

Любкин (пытливо). Какое ж такое наше время?

Григорий Михайлович (спохватившись). Нет, нет! Я ведь в каком смысле? Наше время деловое, рабочее, строительства сталинских пятилеток.

Любкин. Вы что же — партиец?

Григорий Михайлович. Нет, я... Куда уж мне! А дочери я много раз советовал: запишишь в партию. Но она робка...

Любкин. Да уж куда ей в партию! Этого даже и представить нельзя, чтобы Евлалия Григорьевна и вдруг — в партию!

Григорий Михайлович. Вот именно! Вот именно! Не из того теста. Но зато она славный человек. Семейная жизнь ее сложилась неудачно, мужа сослали, но ведь она еще молода. И если встретится человек, то я уверен, он не ошибется. Ласкова, нежна, преданна... И, знаете, что странно: совсем ее не тянет к молодежи, ей больше нравятся вполне зрелые мужчины...

Любкин (поднимаясь). До свидания!

Григорий Михайлович (почти умоляя). Она буквально с минуты на минуту! Будет так жалеть... Она, надо вам сказать, очень-очень часто вспоминает вас и говорит со мной. И такой-то вы, и разэтакий!

Любкин двинулся к двери.

Но когда же вы придете? Она вас будет ждать.

Любкин. На днях зайду.

Григорий Михайлович (семеня к двери). Всего вам доброго, всего доброго!

Любкин (выходя за дверь, про себя). Ну, сволочь, просто сволочь!

Навстречу ему в коридор входит с улицы Евлалия с кошелкой.

Евлалия. Ой, здравствуйте!

Любкин. Я у вас был.

Евлалия. Извините, в лавке очередь, задержалась... Ваша работа готова, зайдемте, я отдам.

Любкин. Времени нет, я потом зайду. Завтра... нет, послезавтра. До свидания.

Евлалия. До свидания.

Любкин (пошел, но остановился). Минуточку... мне одну вещь знать надо... Вы с вашим отцом говорили обо мне?

Евлалия. Что говорила?

Любкин. Вообще! Говорили когда-нибудь обо мне хоть что-нибудь, хоть одно слово?

Евлалия (не понимая). Нет... А зачем?

Любкин. Я так и знал!.. Пойдемте, возьму рукопись. Работа не волк...

Возвращаются в комнату Евлалии Григорьевны.

Григорий Михайлович (радостно). Встретились? А я ухожу, ухожу, у меня уйма дел! (Подошел к Евлалии, целует ее в лоб.) Ну, ну, будь умницей, Лалочка! (Любкину). Всего хорошего! (Ушел.)

Евлалия (доставая рукопись). Вот... Только вы знаете, у меня вышло не 400, а 417 страниц. Но это моя вина, вы не считайте.

Любкин. Глупости! Пишите расписку на 834 рубля и отдельно счет на бумагу, копирку.

Евлалия. Нет, нет! Как можно... это за мой счет.

Любкин (пристально посмотрев на нее). И как это вы до сих пор живете, если вы такая! Вот уж подлинно голубенькая!

Евлалия. Почему голубенькая?

Любкин. Это вас старушка так называет, Софья Дмитриевна ваша... Пишите расписку: получила за перепечатку 834 рубля, а за бумагу и копирку 66 рублей. Всего — 900. Пишите! (Вынул деньги, отсчитал, подал Евлалии. Достал из портфеля еще одну рукопись.) А эту не перепечатаете? Тут, правда, меньше, страниц 200, но она не последняя. Такого добра у нас хватит.

Евлалия. Я... я, конечно, с удовольствием... Большое вам спасибо, Павел Петрович, только...

Любкин. Ну, что это за «только»?

Евлалия. Но ведь очень дорого — по два рубля. Я могу и дешевле!

Любкин. Ну, голубенькая! Дают — бери, бьют — беги. (Положил рукопись на стол.) Славная у вас эта старушка, приветливая. Кажется, бедует.

Евлалия. Да, очень бедно живет.

Любкин. Как это так — очень бедно? (Вдруг рассердившись.) У нас рост благосостояния трудящихся, зажиточная жизнь у людей, а вы — «бедно живет»! Мы же социализм построили, к коммунизму идем... Разве при социализме могут быть бедняки?

Евлалия (растерявшись). Я не знаю... при социализме, конечно... Но она очень-очень бедно живет!

Любкин. А что же не помогает?

Евлалия. Я... мне не из чего было! А теперь я... Эти деньги вот... Софья Дмитриевна мне помогает за Шуриком смотреть, а я...

Любкин. Поможете теперь, стало быть?

Евлалия (радостно). Обязательно!

Любкин. Это хорошо! Надо, надо помочь! Чаю, сахару, хлебца... Маслица для лампадки! Еще чего?

Евлалия (не понимая злобы Любкина). Я не знаю... я...

Любкин. Не знаете? Кто же знать-то должен? Кто? В Обкоме

партии спросить, что ли? В НКВД за справкой пойти? Если вот такие, как вы, не знают, так кто же знать-то будет? Плохая жизнь теперь? Холодная?

Евлалия. Страшная очень.

Любкин. Страшная? (Засмеялся.) А как же «живем мы весело сегодня, а завтра будет веселей»? Поэт сказал. Поют хором. Видите, совсем не страшная! А вы...

Евлалия (совсем растерявшиясь). Я... но...

Любкин. Что еще за «но» такое? Какое такое может быть «но»? Сталин сказал — жить стало веселее, и точка!

Евлалия. Люди кругом страшные... Люди другие стали!

Любкин. То-то же... У Софьи Дмитриевны иконы висят и лампадка горит, а? Опium! А вы здесь против слов товарища Сталина какое-то «но» возражаете! Контрреволюция! Эх, вы... голубенькая! Да ведь вас и под ноготь взять даже нельзя. Муж-то ведь в ссылке? А сынишка-то еще крохотный? А сил-то у вас нет? Так разве можно жить так... голубенькой? «Правду» читаете? «Сталинскую конституцию» изучаете?

Евлалия. Не надо! Не надо, милый Павел Петрович!

От слова «милый» Любкин отшатнулся, как от удара.

Любкин. Мне пора! У меня считанные минуты. Дела... Всего вам хорошего.

Евлалия. До свидания.

Любкин стремительно вышел.
Почти мгновенно в коридор входит и бежит в свою комнату Григорий Михайлович. Он, видимо, бродил около дома и видел, как ушел Любкин.

Григорий Михайлович. Ну что? Как?

Евлалия. Ничего... Взял работу, дал другую.

Григорий Михайлович. Очень хорошо. Деньги заплатил?

Евлалия. Заплатил.

Григорий Михайлович. Ну, что еще?

Евлалия. Ничего.

Григорий Михайлович. Так-таки совсем ничего?

Евлалия. А что же еще?

Григорий Михайлович. Ах, Лалка, Лалка, до чего же ты глупая!.. Дай пятьдесят рублей. (Сердито.) Даже на мелкие расходы денег нет.

Евлалия дает отцу деньги.

Кто он — этот Семенов? Кем служит?

Евлалия. Я его не спрашивала.

Григорий Михайлович. Ну, живет где? Номер телефона не спросила? Может, понадобится.

Евлалия. Нет, не спросила.

Григорий Михайлович. Эх.. (Махнул рукой.) Дай, пожалуй, еще десятку.

Евлалия послушно достает деньги.

Картина седьмая

Кабинет Любкина. Любкин за столом. Перед ним стоит начальник следственного отдела Терпугов.

Любкин (сдерживая ярость). У Глобышева на руках двадцать пять следственных дел, а только четверо сознались. У Мордовцева девятнадцать дел и двое сознались. У Фишера пятеро на восемнадцать. Куда же это к черту такое годится?! Ни к хрена собачьим такое не годится.. Рыба всегда начинает вонять с головы, товарищ Терпугов, а поэтому я голову и подцеплю под жабры. Ты начальник следственного отдела!

Терпугов (старается не выдавать своего страха). Случайный подбор дел.

Любкин (его прорвало). Да поди ты знаешь куда! Поди ты к... Случайный подбор дел! А еще большевик! Справляться не умеешь. Со Смирновым говорил?

Терпугов (у него перехватило горло). О чём?

Любкин. О мамкиной титьке! Почему у него все сознаются? Почему у него все в срок?

Терпугов. У него Жорка со своим ящиком.

Любкин. Какой еще Жорка с ящиком?!

Терпугов. Младший следователь Жорка ящик придумал. В человеческий рост. И гвозди внутри. Он туда их голыми запихивает...

Любкин (взрывается). Сколько раз я говорил — меня не интересуют ваши дела! Еще раз заикнешься, туда поедешь, куда я уже четырех послал. Ждешь, пока я сам за все возвращусь? И за тебя первого.

Терпугов. Вот ты сердишься, товарищ Любкин, а ты сам рассуди: что уполномоченный — враг себе, что ли? Он знает, если он с арестованным не справится, тогда ты с ним самим справишься.

Любкин. Ты мне пробку здесь не устраивай. До того довел — в камерах не только сидеть, стоять негде. А новых я куда сажать буду?.. Есть приказ из Москвы — выловить всех троцкистов, всех, даже тех, кто с ними одним воздухом дышит. Ясно? Даю тебе ровно две недели срока. Придешь и доложишь. А мое слово крепко, ты знаешь.

Терпугов. Будет исполнено, товарищ начальник.

Любкин. Посмотрим.

Терпугов. Разрешите вашего совета спросить... Что с ними делать? Иные, знаете, со страху сразу признаваться начинают, другие — только обрабатывать начнут, тоже говорят. Следователи обвинений уже придумывать не могут, требуют, чтобы арестованные сами сочиняли, а у них не получается. Один кричит — участвовал в убийстве Кирова, на другой день забывает, говорит: принимал участие в военном заговоре, путает. Другой несет бред о своей связи с турецким консульством...

Любкин. Почему с турецким? Ведь турецкого консульства у нас в городе нет.

Терпугов. То-то и оно. Говоришь ему, так он кричит: с японским я связан, с японским... Честно говоря, мы толком понять не можем, в чем они виноваты, а они... не признаются, то есть, выдумать не могут. Иной дурак такое выдумает.. А потом в это выдуманное так

поверит, будто в самом деле происходило... Извините, товарищ Любин, но мы постараемся, я, в частности.

Любкин. Ладно, иди, иди.

Терпугов ушел.

(Начал копаться в делах, но, видимо, устал. Снял телефонную трубку.)
Алло!.. Дома? Спать не ложишься?.. Погоди, не ложись, сейчас приеду на часок. (Положил трубку, стал собираться.)

Звонок телефона.

Голос Супрунова. Что делаешь?

Любкин. К бабе хочу съездить, мозги прочистить надо, а то они у меня что-то мутные.

Супрунов. Погоди. Дело есть срочное.

Любкин. Надолго?

Супрунов. А это видно будет.

Любкин. Хорошо. Зайду. (Положил трубку и снова набрал номер.) Алло!.. Ложись спать, не приеду.

Картина восьмая

Кабинет Супрунова. Яхонтов стоит у стола. Супрунов читает поданную Яхонтовым докладную.

Супрунов (кончил читать. Тихо). Кому говорил об этом?

Яхонтов. Никому.

Супрунов. Не врать!

Яхонтов. Никому.

Супрунов. Ты парень с головой, товарищ Яхонтов, и ты должен понимать: в таком деле на двух стульях сидеть нельзя и в прятки играть негоже. И если кто-нибудь еще знает...

Яхонтов (быстро). Я никому не говорил.

Супрунов. А если говорил, то дурак, значит. А дураков здесь не жалеют.

Яхонтов. Вы не сомневайтесь, товарищ начальник, никому!

Супрунов. А тот, как его... (Глянул в бумагу.) Варискин?

Яхонтов. Кому же скажет, он в одиночке.

Супрунов. Ты правильно поступил, что сразу мне доложил. Дело серьезное.

Яхонтов. Совершенно так.

Супрунов. Иди!. Постой. Раз ты такой башковитый парень... Сядь... Мне начальник поручил переговорить с тобой. У нас, надо тебе знать, новое дело начинается. Тонкое и тайное, конечно. До того тайное, что я даже мух из комнаты выгоняю, когда им занимаюсь. Тебе первому рассказываю... Из-за границы идет подлинный заговор.

Яхонтов. Понимаю.

Супрунов. Подробно расскажу завтра. А сегодня ночью надо одну штуку провернуть... Штатское платье у тебя есть с собой?

Яхонтов. Есть.

Супрунов. Так ты вот что сделай. Переоденься в штатское, а

потом я приду к тебе, арестую, в одиночку спрячу. Идешь на подсыпку. Утром к тебе арестованного приведут. Можно, конечно, тебя и потом к нему подкинуть, но психологически другая картина будет, у него недоверие может быть. А если он тебя уже в камере застанет, подсыпки не зачут.

Яхонтов. Это правильно. Совсем другой подход.

Супрунов. Задача твоя — этому гусю в душу влезть. Выбери минутку, отвернись от него и скажи, словно себе говоришь: «Папироска моя не курится, с кем буду амуриться».

Яхонтов. Это что же — пароль?

Супрунов. Само собой. Вот увидишь, он тебе ответит: «Моя папироска курится и любит меня курица»... Никому ни слова, понял?

Яхонтов. Об этом не надо говорить, товарищ начальник.

Супрунов. Ну, я в тебе не сомневаюсь. Иди сейчас, переоденься. Я по всей форме приду и тебя арестую... Да, захвати с собой револьвер в карман заряженный и с собой носи. Тут такое может быть, чего и не ожидаешь... Ну, иди... (Подошел к Яхонтову, похлопал его по плечу.) Молодец... Иди.

Яхонтов уходит. Входит Любкин.

(Передавая бумагу Любкину.) Читай.

Любкин (прочитав.) Это черт знает что! Бред!

Супрунов. И не из-за такого бреда людей ликвидируют.

Любкин. Шут их знает, как они там насчет тебя или меня считают. Сегодня одно, завтра другое. Прочитают такую ерунду и: давай-ка и этих прятанем, благо основание готово. Так? Это надо прекратить.

Супрунов. Конечно. Только подумать? Как?

Любкин. К стенке Варискина и Яхонтова. Завтра же.

Супрунов. Так просто к стенке опасно. Без «тройки» расстрелять, конечно, можно, но как бы чего не заподозрили.

Любкин. Что же?

Супрунов. Я иначе сделаю. Без стенки.

Любкин. Придумал?

Супрунов. Так... Общая наметка пока... А это (показывая на бумагу) ты у себя оставил?

Любкин. Сам уничтожу. (Не без осторожности.) А если хочешь, уничтожу при тебе. Вместе уничтожим.

Супрунов. Я тебе доверяю.

Любкин. Любопытно было бы поговорить с этим Варискиным, черт его дерি совсем. Как он? Что он? Балды кусок или...

Супрунов. Что тебе любопытно?

Любкин. Вот это самое. (Щелкнул пальцем по бумаге.) Ну, хорошо, выдумай: ты и я — враги народа, возглавляем организацию «Черная рука»... Да разве это все? Выдумай... А что сам-то думает?

Супрунов. Он Жоркин ящик прошел. Думает поди: хорошо выдумай. Вот, мол, какую штуку я вам открываю, пожалейте меня, я хороший, отпустите.

Любкин. Да разве ж в этом дело? Ведь надо глубже вникнуть, Павел. Тут человеческое надо понять, потому что это... Это ведь... Это

Супрунов. Какой край?

Любкин. Да разве же не край? Ведь он, Варискин, ведь он поди сам в это верит.

Супрунов. А кто его знает, может быть, и верит.

Любкин. Понимаешь ты, ведь это же такое! Сам выдумал, сам поверил. Кто он, что он, глаза-то у него какие, как он может видеть то, чего нету... Погоди, он тебя знает? В личность тебя видел?

Супрунов. Нет, откуда же. И я его не видел.

Любкин. И меня он не знает... Вот что мы сделаем, Павлуша. Вызовем его, словно ты другой следователь. А я сбоку посижу, посмотрю. Он в одиночке?

Супрунов. Само собой.

Любкин. Зови. (*Нажал кнопку звонка.*)

Входит дежурный.

Супрунов. Варискина сюда.

Дежурный ушел.

(*Звонит по телефону.*) Буфет?.. Принесите чаю с бутербродами.

Любкин. Раньше-то кто он был?

Супрунов. В двадцатых годах токарем на заводе, потом на колхозизацию мобилизовали. Проводил усердно, отличился, его в тридцать пятом председателем горсовета и сделали. Там и взяли по чьему-то доносу.. Яхонтов зверь. Довел.

Буфетчица вносит чай с бутербродами.

Вводят Варискина.

Садись, товарищ Варискин.

Варискин важно уселся.

Так вот по поводу твоих показаний, товарищ Варискин. Стало быть, Любкин и Супрунов возглавляют организацию «Черная рука»? Так?

Варискин. Не одни, конечно, их там много, но они главные.

Супрунов. Наверное, знаешь?

Варискин. Не знал бы, не говорил.

Супрунов. Дело, сам понимаешь, нешуточное. Это я тебе как большевик большевику говорю. Словами трепаться нечего, а коли что есть, выкладывай. Доказать можешь?

Варискин. Могу. Спрашивайте.

Супрунов. Может, ты есть хочешь? Чаю выпьешь?

Варискин. Чая?.. Чего же, если чаю...

Супрунов. Так ты и не стесняйся, ешь.

Варискин с нескрываемой жадностью хватает бутерброд и торопливо жует. Супрунов и Любкин внимательно смотрят на него.

Есть ешь, а все-таки говори.

Варискин. На заседании, стало быть, «Черной руки»... вы записывайте... на этом самом заседании председательствовал Любкин. Он тогда зачитал нам инструкцию, которую получил из заграничного центра. А потом он нам сказал, что...

Супрунов. Погоди. Что было в инструкции?

Варискин. Ну как это что? Известно что: пароль для явки, опять же насчет предательства на военных номерных заводах и... и... того... насчет шпионажа тоже — где какие гарнизоны, с каким значит вооружением и вообще...

Супрунов. Ты сам на этом заседании был? Сам слышал?

Варискин. А как же! Не был бы, не говорил. А потом взял меня к себе этот самый Любкин и...

Супрунов. Куда взял? На дом?

Варискин. А шут его знает. На Канатчикову улицу, кажется, туда ходил. Может, он жил там, а, может, для явок.

Супрунов. Ну?

Варискин. Дал мне список, зашифрованный, конечно. В том списке все было обозначено: в каком городе кто в верхушке состоит, а кто из НКВД в заговор вовлечен, все было обозначено.

Супрунов. Где же этот список?

Варискин. А он его потом у меня назад взял.

Супрунов. Стало быть, ты Любкина хорошо знаешь?

Варискин с набитым ртом закивал головой.

Любкин (*сидевший в стороне, встал, подошел к Супрунову. Негромко смотрит на Варискина.*). Когда это было?

Варискин. Числа я точно не помню, а примерно зимой.

Любкин. А... зимой. А Супрунов?

Варискин. Что Супрунов?

Любкин. Откуда ты знаешь, что он тоже в вашей организации состоял?

Варискин. Так он же вместе со мной в одном секторе работал. Сектор внутренней связи назывался.

Любкин. Так зимой, говоришь?

Варискин, жуя бутерброд, опять кивает головой.

А может, ты ошибаешься?

Варискин. Почему ошибаюсь?

Любкин. Так ведь Любкина и Супрунова зимой здесь совсем еще не было, они сюда недавно приехали.

Варискин (*с обидой*). Да как же это так, что не были, коли они были. Я же вам говорю: на собрании присутствовали и меня потом к себе вызывали, и мне этот самый список дали.

Любкин. Да они зимой не то в Сибири, не то в Монголии были.

Варискин. Они, может, и в Сибири были, а сюда, когда им надо, нарочно приезжали. Далеко ли Сибирь. На самолете — раз и готово. Сделают здесь и назад, долго ли!

Супрунов. Любкин тогда тоже с бородой был, как сейчас, или бритым ходил?

Варискин. С бородой. Я ему говорю: зачем бороду носишь? А он: Сибирь, холодно. На купца он похож. С бородой-то.

Любкин. А Супрунов?

Варискин. Без бороды. Мужчина видный. Рябоват малость.

Любкин. И без двух пальцев на правой руке?
Варискин. И без двух пальцев на правой руке. (Взял еще один бутерброд.)

Супрунов. Ешь, не стесняйся. А вечером я тебя опять вызову, так поужинаешь. Об остальном мне вечером расскажешь, а сейчас иди к себе. Ты в одиночке?

Варискин. В одиночке.

Супрунов. Оно и лучше, бузы меньше. В общей камере дряни всякой много.

Варискин. Там дряни много.

Супрунов. Ну, иди.

Варискин поднялся и вышел. Любкин и Супрунов сидят молча.

Любкин (нервно). Видал, видал, видал?

Супрунов. Что видал?

Любкин. Верит! Понимаешь, сам всему верит — и бороде, и двум пальцам! До чего довели! Верит!

Супрунов. Ну, черт с ним, верит, и пускай. Тебе-то что? Не один Варискин в свои выдумки верит, все верят.

Любкин. Сами придумывают и все сами верят, все?

Супрунов. К этому идет.

Любкин (несдержанно). Да не идет, а ведет! Ведут! Мы ведем, мы! К ненастоящему ведем. А ты? Ты-то, Павел, веришь в то, что ты выдумал?

Супрунов. Я ничему, Ефрем, не верю, потому что ничего мне не надо из того, что люди придумывают. А вот ты...

Любкин. Что?

Супрунов. Для чего ты Варискина вызвал? Чего ты от него хочешь, не пойму я.

Любкин. А тебе он зачем?

Супрунов. Чтобы он меня не боялся, корм из рук моих брал.

Любкин. Зачем?

Супрунов. Там видно будет. (Взглянув на часы.) Скоро три. И спать-то мы разучились. (Пошел, но остановился.) Ох, Ефрем, Ефрем, какие-то у тебя мысли появились.

Любкин. Какие? Никаких особых нет.

Супрунов. Шататься ты еще не шатаешься, но прежней крепости в тебе не вижу. Словно бы ты с трещинкой. А?

Любкин. Это тебе только кажется. Коли я отвалюсь от большевизма, тут мне и смерть.

Супрунов. Это верно. Мы без большевизма смысла не имеем. Помни. Если, предположим, контрреволюция победит, то мы с тобой без остатка погибнем. И не оттого, что нас расстреляют или на каторгу сошлют, а оттого, что ни в одном уголке жизни нам места не будет. Новая жизнь будет, новые люди, а нам в той жизни, с теми людьми места не будет.

Любкин. Стало быть, мы в себе уверены. И трещинки во мне нет, не сомневайся... К бабе пойду. Там и усну.

Супрунов. Пойди-ка, отвлекись.

Картина девятая

Комната Евлалии Григорьевны. Ночь. И только ночной свет в окне. Все спят. По коридору в свете ночной лампочки, громко топая ногами, идут пятеро — трое в форме НКВД, двое в штатском. Подходят к комнате Евлалии, резко стучат в дверь. Григорий Михайлович и Евлалия просыпаются. Стук еще разече и громче. Евлалия еле успевает накинуть на себя халат. Григорий Михайлович сел на кровати, ничего не понимая. Резкий рывок двери и она распахивается. Пятеро входят в комнату.

Главный. Где у вас выключатель? Зажгите свет.

Евлалия зажгла настольную лампу.

Главный включил верхний свет.

Володеев? Григорий Михайлович?

Григорий Михайлович. Это я.

Главный. Одевайтесь.

Григорий Михайлович. Но... но...

Главный. Одевайтесь.

Григорий Михайлович лихорадочно одевается. Начался обыск. Открыли шкаф, ящики письменного стола, заглянули за ширму.

Евлалия. Там ребенок. Спит.

Главный. Ребенок нас не интересует.

Один из сотрудников НКВД вытащил из ящика комода деревянную шкатулку, взломал замок, заглянул внутрь.

Сотрудник. Это ваше?

Григорий Михайлович. Да...

Сотрудник. Ну и порнуха! (Бегло посмотрел несколько открыток, снова бросил их в шкатулку, поставил ее на комод.)

Во время обыска из всех дверей коридора высунулись головы соседей. Смотрят на распахнутую дверь Володеевых со страхом и любопытством, шепчут друг другу неслышные нам слова.

Главный (указывая на Евлалию). Это ваша жена?

Григорий Михайлович. Дочь...

Главный. А-а, дочь... Собирайтесь, сейчас пойдем. Можете взять с собой одеяло, подушку, полотенце и мыло, ну и зубную щетку тоже. Курите? Табак тоже можете взять.

Евлалия. А деньги?.. Деньги можно?

Главный. Ну, рублей двадцать-тридцать возьмите. И ложку захватите и кружку.

Евлалия. А еду? Хлеб?

Главный. Дайте немного. Там кормят, не бойтесь... Справки можете навести на улице Розы Люксембург номер пять от двенадцати до четырех. Но раньше, чем неделя, не приходите, все равно ничего не скажут. (Обращаясь к Григорию Михайловичу.) Пошли.

Григорий Михайлович надел пальто, шляпу и как-то тупо пошел к двери.

С дочкой-то не попрошаешься? Не на один день расстаетесь.

Евлалия (рыдая). Но ведь папа ничего не сделал, он ни в чем не виноват! Мы живем с ним... я служу в местпроме, а он нигде не

работает. У него даже и знакомых нет почти никого, он нигде не бывает, потому что... (*Вцепилась в отца.*)

Главный. Пошли... (*Нерезко оторвал Евлалию от отца.*)

Как только сотрудники НКВД стали выводить Григория Михайловича в коридор, головы исчезли, двери захлопнулись. Только одна Софья Дмитриевна прошла в комнату Евлалии, обняла ее за плечи, гладит по голове.

Евлалия. За что его? Почему?

Софья Дмитриевна. Вы, голубенькая, об этом поскорее Семенову скажите.

Евлалия (*еще ничего не понимая*). А?.. Семенову?.. Да, да, конечно... Но где же он? Я ведь не знаю...

Софья Дмитриевна. Я так думаю, что он сможет помочь. У него там в НКВД этом самом и знакомые, и друзья, верно, есть. Пусть похлопочет. Нельзя же нашего Григория Михайловича без помощи оставить.

Евлалия. Конечно, нельзя... никак нельзя... Но я не знаю, где можно найти Семенова. Я же адреса его не знаю... ничего не знаю.

Софья Дмитриевна. Узнать надо. Человек не иголка. А человек он, надо полагать, видный, его должны знать.

Евлалия. У кого же узнать?

Софья Дмитриевна. Может быть, на работе у вашего самого главного начальника спросить. Начальники все друг друга знают.

Евлалия стала механически прибираться в комнате. Ей помогает Софья Дмитриевна. Евлалия взяла в руки шкатулку, глянула в нее и с отвращением отшвырнула, так что несколько открыточек упали на пол. Софья Дмитриевна помогает поднять их.

Евлалия. Не смотрите, не смотрите, какая мерзость! (*Бросает шкатулку и открыточки в ящик комода.*) Вадю взяли, теперь папу...

Софья Дмитриевна (*обнимает Евлалию*). Отпустят, отпустят, не убивайтесь. Это ошибка какая-то, ошибка... (*Закрывает кровать Григория Михайловича ширмой.*)

Евлалия (*раздвигая ширму*). Не надо как по покойнику! (*Плачет.*) Пусто как! Пусто!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Картина десятая

Ночь. Комната Елены Дмитриевны. Три звонка в дверь. Елена Дмитриевна в ночной сорочке выходит из спальни. Открывает дверь. Стремительно входит Любкин.

Любкин (*хрипло и резко*). Коньяк есть?

Елена. Что так поздно?

Любкин. Давай!

Елена достала коньяк, наливает стопку.
Любкин, не садясь, одним глотком выпивает до дна.

А ты чего не пьешь?

Елена. Выпью. Дай глаза протереть.

Любкин (*пристально смотрит на Елену*). И красивая же ты, черт!

Елена. Красивая? Я красивая... Устал?

Любкин. Работы много.

Елена. Еще не хочешь?

Любкин. Нет.

Пауза.

Елена. Я хочу тебе сказать...

Любкин. Что?

Елена. Это, может быть, тебя совсем не касается, не нужно тебе и ничуть не интересует тебя, но... По правде говоря, не знаю, зачем хочу сказать, но хочу и хочу!

Любкин с интересом, но настороженно смотрит на нее.

Я давно уже хотела сказать тебе, но откладывала, потому что... Правда это или нет, не знала. Теперь, наверное, знаю... (*Пристально смотрит на Любкина.*) Я любила тебя. Люблю.

Любкин (*после паузы. Недоуменно*). С чего оно так?

Елена. Не знаю. Но только... только мы не будем об этом говорить? Тебе, как всегда, никогда.

Любкин. Ты... ты... Это дело большое.

Елена. Большое?

Любкин. Большое.

Елена. И ты не знаешь, что сказать мне в ответ? Ладно, я помогу. Не говори и уходи.

Любкин. Ты не обманываешь меня? Это настоящее?

Елена. Сейчас же уходи. Не знаю, зачем я сказала тебе это. Впрочем, никакого «зачем» и нет, есть только «почему».

Любкин (*глухо*). Почему?

Елена. Потому что если любишь, не можешь умолчать. (*Улыбнулась.*) Боялась: вдруг рассердишься.

Любкин. Почему — рассердишься?

Елена. Ты большевик, партиец, чекист. Твоя жизнь не для женщины. Баба тебе, конечно, нужна, ты здоров и силен. Моя постель тебе нужна, а я нет.

Любкин. Об этом ты молчи! Это ведь не то... Оно даже и не так!

Елена. Ты не думай, будто теперь что-нибудь должно измениться или я тебя к чему-то обязываю! Ни капельки! Как было, так и останется!

Любкин. Нет, оно уж так не останется! Так оно уж остаться не может. Никак!

Елена. Я сказала «люблю» не для тебя, для себя! Мне нужно, мне... А тебе это совсем не нужно, ты и не знай! (*Прижалась к нему.*) Люблю, люблю, люблю... (*Подошла к буфету, открыла дверцу.*) Давай закусим!

Любкин. Закусить? Очень даже хорошо!

Елена достала закуску.

(Смеется.) Будто я дома. Даже блинов захотелось, с икрой.

Елена. Хочешь, сделаю.

Любкин. Ну, до масленицы еще далеко!

Елена. А разве непременно нужна масленица?

Любкин. Можно и без масленицы, но на масленице, понимаешь ты, блины вкуснее!

Елена. Разве? Я масленицы не знаю. Родилась в одиннадцатом, а в семнадцатом вы масленицу в чека забрали, не то расстреляли, не то в изоляторе держите... без права переписки! А что было на масленице?

Любкин. Не знаю, как у больших людей, у господ. У нас на деревне очень даже любопытно. Катанья, понимаешь ты, устраивали... Лошадей всех лентами уберем, бантами украсим, в гривы всякие такие звезды поналепим, сани ковром покроем и — раздайся душа на две половинки!.. Тут тебе колокольчики да бубенчики... Коренник словно лебедь плывет, пристяжные тоже у达尔 показывают, в кольцо вьются... Эй, раздавлю!

Елена. И ряженые? И ряженые?

Любкин. Ряженые — те на святки. На масленицу — балаганы, качели, карусели... Наша-то деревня от города всего верст пятнадцать была, так мы, значит, туда. А там женщину на двенадцать пудов показывают, карликов-лилипутов. А мальчишки-то, понимаешь ты, под ногами вьются, в сопелки-дуделки дудят-свистят, земли под собой не чуют! А сверху-то солнце! Эх, мороз, аленьевые щечки!.. А потом — блины. Ну и водочка к ним, конечно. Смородиновая, полынная, зверобойная, сорокостроччатая... Дух от блинов идет, лучи невидимые сияют!..

Елена. Ты из богатой семьи был?

Любкин. Жили, не нуждались! Да ты не думай. Если даже и самый бедный мужик был, так и он себе в блинах никак не отказывал. Тогда ведь какая жизнь была!

Елена. Зачем же... разрушили?

Любкин (неохотно). Это... статья... другая!

Елена. Вот именно — статья! Блины и балаганы помешали! Колхозники-то теперь блины едят?

Любкин. Не про то разговор. Масленица, она, конечно... Но ты не одну только масленицу бери, ты вообще бери!

Елена. Никакого «вообще», Ефрем Игнатьич, нет, есть одно только «в частности»! Ты про сезон на Ривьере слыхал когда-нибудь?

Любкин. Это что такое?

Елена. Это? Это пирожное! И белая яхта в Средиземном море. Впрочем, нет, нет, я ошиблась! Всего этого ничего нет, нигде, как жар-птицы и золотой рыбки!

Любкин. Ты что-то... не о том!

Елена (страстно). Помню, шла я один раз через нашу Караваевку, больного ученика навестить. Знаешь Караваевку? Окраина, тротуаров нет, мостовые провалились, заборы упали, кучи везде... Вечер был, совсем темно... И где-то пьяный не то хрюпит, не то блюет. Дождь ледяной, осенний... И грязь! Нога по щиколотку тонет. Как через улицу перейти, уж и не знаю... и вдруг где-то около меня труба громкоговорителя на столбе загудела. Загудела, закашляла, потом словно бы оправилась и... И скрипки вдруг моцартовский концерт запели! Я так и замерла!

Любкин. Чего это?

Елена. Да неужели ты не понимаешь? Тьма, холод, осень, грязь, пьяный блюет и матом кроет, а скрипки моцартовский концерт поют! Жизнь мне в башмаки насочилась, а скрипки поют что-то такое, в чем ни тьмы, ни грязи и быть не может! Я помню, постояла я... заплакала! От отчаяния? От тоски? От злобы. Хотелось выть — истощено, от сердца, от живота! Это обман, этого нет! На самом деле есть только достижения стахановцев, увеличение добычи угля и «дети поймали шпиона»! А, знаешь, чего я тогда захотела? До боли, до муки, до отчаяния!

Любкин. Чего?

Елена. Быть в том зале! Мраморные колонны, хрустальные люстры, сотни людей. Тепло, хорошо, светло! До дрожи в сердце захотелось быть в том зале! (Вдруг.) Ты читал сегодня «Правду»? Кто еще прислал рапорт любимому Сталину? Сколько поросят принесли свиньи в колхозе «Слава Октябрю»? Какой ударник какого переударил?

Любкин (нахмурился. Тихо). Ты... Не понимаю я тебя! Какая-то ты сегодня такая... Непохожая!.. Настоящая ли ты?

Елена (резко). А разве ты уже все настоящее ненастоящее сделал?

Звонок телефона.

(Берет трубку.) Алло!.. Да, передаю трубку!

Любкин (в трубку). Ну? Павел? Чего надо?.. Чего так спешно?.. Пожар, что ли?.. Ладно, сейчас!.. (Елене.) Зовут! (Подошел к ней, взял за плечи.) Так-то и вот так-то! (Поцеловал.)

Елена (показывая на занавеску). Пойдем туда?

Любкин (обнял Елену). Завтра приду. Что-то там срочное.

Картина одиннадцатая

Кабинет Супрунова. Конвойные вводят арестованного Яхонтова.

Супрунов (конвойным). Идите.

Конвойные вышли.

Ну садись, арестантник.

Яхонтов улыбнулся и сел.

Дело чуть-чуть изменилось. Оказывается, того гуся нельзя было но-

чью арестовать, надо ему дать сегодня в одно место сходить. Напрасно ты ночью в одиночке просидел.

Яхонтов. Неважно...

Супрунов. Знаю, но не люблю зря делать... Надо теперь все это дело объяснить. В курсе будь. (*Встал, потянулся.*) Целый день сидишь, как ворон на суху. Тело движения хочет. Я ведь бег люблю, прыжки, зимой — лыжи. Ты любишь? Спортом занимаешься?

Яхонтов. Я в футбольной команде был.

Супрунов. О-о-о! (*Подошел к окну, раскрыл его.*) Осень!.. Хороший парк! В этом здании раньше Институт благородных девиц был. Весело поди девки жили!.. Ну ладно... Ты револьвер с собой взял?

Яхонтов. Взял.

Супрунов. Дело! С тобой он?

Яхонтов. Со мной.

Супрунов. Покажи-ка, годится?

Яхонтов передает револьвер Супрунову.

Сойдет. На большую дистанцию все равно стрелять не придется. Но мой лучше. (*Достает из кармана свой револьвер. Сравнивает.*) А, может, и хуже. Привык я к нему. Каждый день, как правило, упражняюсь, потому и стреляю ладно. Ты хорошо стреляешь? Левой рукой умеешь?

Яхонтов. Левой?

Супрунов. Да, вот так. (*Неожиданно левой рукой стреляет вбок, в сторону своего письменного стола, и почти мгновенно правой рукой стреляет в Яхонтова.*)

Яхонтов падает. Супрунов быстро прыгает к нему и под правую руку подбрасывает ему его револьвер. Бросается к двери, распахивает, кричит резко.

Сюда, скорей!

Вбегает караульный, за ним еще двое.

Вот гад! Выстрелил в меня и через окно бежать хотел! А ну, гляньте, жив или нет?

Конвойный. Доктора позвать?

Супрунов. Позови, мигом!

Другой конвойный. На диван положить, что ли?

Супрунов. Правильно, клади... Нет, диван кровью запачкает. (*Смотрит на Яхонтова.*) Выходит, убит... Он в меня вон оттуда выстрелил, а... Где же тут его пуля попала? Поищите. Она где-то тут. (*Показывает на стену за столом.*)

Конвойный находит пулю над столом в стене.

Он бросился к окошку, а я вскочил и сразу за карман. Он угадал, что не успеет через окно проскочить, повернулся и выстрелил. Промахнулся. А я нет.

Конвойный. Значит, здорово был парень вломившийся.

Другой конвойный. Не без того.

Супрунов. Ну ладно, лишнего не болтать! Начальнику доложу сам... Вынесите его.

Конвойные вынесли убитого Яхонтова. Супрунов плюхнулся в свое кресло, расслабился, дышит тяжело. Снял трубку, набрал номер.

Любкина попрошу...

Картина двенадцатая

Тюремная камера набита битком заключенными. Кому удалось лечь, а кто просто сидит. В камеру втолкнули Григория Михайловича. Дверь захлопнулась, замков загремел.

Миролюбов. Прошу здравствовать.

Григорий Михайлович (*ничего не понимая*). Здравствуйте.

Миролюбов. Сегодня ночью взяли или откуда-нибудь перевели сюда?

Григорий Михайлович. Нет, я сегодня... то есть меня сегодня взяли.

Миролюбов. Тесно у нас. Да в других камерах, говорят, хуже. Вы садитесь.

Григорий Михайлович. Да, но... куда же?

Миролюбов. Там, где вы стоите, туда и садитесь... Я староста камеры — Миролюбов Николай Анастасьевич.

Григорий Михайлович. Ах, очень приятно. Володеев Григорий Михайлович.

Миролюбов. Вы потом разберетесь, кого здесь как зовут. А вот только (*понизив голос*), вон там лежит один... Козаков. Видите? Его не трогайте. Он ночью с допроса пришел. Тroe суток допрашивали.

Григорий Михайлович (*ничего не понимая*). Да? Тroe?

Миролюбов. Сильно избит. И на ногах десять часов простоял, не позволяли садиться.

Григорий Михайлович. На ногах? Десять часов?

Постепенно все в камере просыпаются.

Звякнул засов. Высунулся караульный.

Караульный. На прогулку!

Арестованные выходят в тюремный двор и начинают ходить по кругу. Миролюбов рядом с Григорием Михайловичем.

Миролюбов. Вы, конечно, понимаете, вам не следует быть в камере болтливым. Мы ведем себя осторожно. Только один говорит чересчур несдержанно. Вот он идет справа в четвертом ряду. Его обвиняют в том, что он немецкий шпион... Будьте к нему снисходительны и не очень удивляйтесь тому, что он говорит. Говорит он очень разумно, интересно, оригинально, но есть что-то в его словах... ему на допросах пришло очень тяжело и, по-моему, он не выдержал. Не то, чтобы сошел с ума, но... Не сумасшедший, но несомненная странность.

Григорий Михайлович. Значит, на допросах бывают?

Миролюбов. Советую вам приготовиться ко всему. И еще: не называйте следователя «товарищ следователь», они этого не любят. Следователь и обвиняемый никак не могут быть товарищами. (Засмеялся.) Хотя мне известен случай, когда чекист вел на расстрел смертников и сказал: «Товарищи смертники, заходите вот в эту дверь на шлепку!» При некоторой коммунистической углубленности палач может видеть в своей жертве товарища... Право, путь от амебы до человека проще и короче, чем путь от человека до большевика.

Карапульный. Заходи!

Арестованные снова входят в камеру. Им через окошечко выдают кипяток. Все молча пьют. Русаков не пьет.

Русаков (*Володееву*). Вам, вероятно, сказали, что я немецкий шпион. Я, изволите ли видеть, лет десять тому назад ездил в служебную командировку в Германию. Несомненно, если бы командировка была в Англию или Польшу, то я теперь был бы английский или польский шпион... Все может быть, все может быть... Может быть, я и в самом деле немецкий шпион, только до сих пор этого не знал. Они знали и сказали мне. Как вы думаете?

Григорий Михайлович (*неопределенно*). М-м-м... да...

Русаков. Они говорят, будто я даже не русский, а немец, и моя фамилия не Русаков, а Росскопф, я нарочно переделал ее в Русакова, чтобы отвести подозрения!.. Я очень много думаю теперь над этим. Ведь если я Росскопф, который на самом деле Русаков, то это очень странно и страшно, не правда ли? Понимаете, чем это кончится? Они расстреляют немецкого шпиона Росскопфа. Пусть. Но русский инженер Русаков останется жив! В этом есть очень, очень большой смысл, очень большой, потому что... (*Понизив голос*.) Дело в том, что я совсем не исключение. То, что со мной, то и со всей нашей жизнью, советской жизнью. Вся она Росскопф, которого нет и который на самом деле Русаков. И вот эта жизнь, которой нет, именно она-то и существует. Вы понимаете меня? Существует только то, чего нет. Мирная политика, рост зажиточности трудящихся, преданность партии и правительству, добровольная подписка на заем, веселые песни — это все Росскопф. Всего этого нет, и потому оно существует. Но все то, что есть, оно не существует: не существует страдание народа, не существуют мечты об освобождении, не существует проклятие тиранам. Конечно, те, которые не знают нашей жизни, этого никогда не поймут. Для понимания нужно одно непременное условие, которое немыслимо нигде, кроме как в СССР: надо, чтобы каждый Русаков, который есть, понял, что он Росскопф, которого нет. Я достаточно ясно выражаюсь?

Григорий Михайлович. Я это не совсем понимаю...

Русаков. В таком случае я вам скажу еще что-то и вы тогда поймете сразу и до конца. Недели две тому назад я сознался, что я действительно Росскопф. Не Русаков! И... И вот уже две недели я чувствую себя именно Росскопфом! Жаль, что плохо говорю по-немецки, так хочется начать говорить по-немецки! И я теперь знаю главное: когда они расстреляют Росскопфа, они расстреляют меня, которого нет, но я, который есть, я, Русаков, останусь жить! Теперь понимаете?

Григорий Михайлович. Теперь понимаю.

Русаков вдруг умолк.

Рыжий парень (*запел песню*).

Жаркий день наста-ал,
Холодо-ок в тени...

Загремел засов. Дверь распахнулась. Входит караульный начальник.

Карапульный. Володеев! На допрос! Давай!

Григорий Михайлович стоит как вкопанный.

Тебе говорят: на допрос!

Григорий Михайлович. А... а... а...

Конвойный выводит Григория Михайловича.

Миролюбов. К Бухтееву, вероятно, попадет.

Русаков. Этот без пытки душу вынет. Садист... И как это человеку может доставлять наслаждение психологическая пытка!

Рыжий парень. А уж по мне пускай над душой издеваются, только бы тело не рвали.

Миролюбов. Ну дай ему Бог выдержки. (*Крестит дверь, в которую ушел Володеев*.)

Картина тринадцатая

Комната следователя Бухтеева. Бухтеев и Володеев.

Бухтеев. Садитесь вон за тот стол. (*Показывает на столик, стоящий в углу*.) Пишите. Думайте раньше, чем писать. Не торопитесь, времени у нас с вами много. Не лгите и не крутите. Анкета построена просто, каждую ложь увижу сразу, потому что я и без вас все про вас знаю. Видите? (*Принесла со стола пухлую папку, давая Володееву поглянуть, что это его «дело*). Малейшую ложь замечу сейчас же. Здесь (*ткнул в папку пальцем*) записан каждый ваш шаг, каждая мысль. Запираться и лгать нет никакого смысла. Ваше положение особенное и к вам будут применяться не совсем обычные нормы.

Григорий Михайлович. Да... да... Я понимаю... Поверьте, я все это очень хорошо понимаю, гражданин следователь, и...

Бухтеев. Пишите! (*Снял трубку*.) Коммутатор, дайте двадцать восьмой... Да, уже пора, зайди.

Вошел молодой человек в форме, наклонился к Бухтееву, что-то шепчет ему.

Да, конечно.

Молодой человек (*кивая в сторону Володеева*). Это Нагаев?

Бухтеев. Нет, это Володеев.

Молодой человек. А-а-а... Володеев... тот самый...
Бухтеев. Да, тот самый.

Молодой человек опять что-то шепчет на ухо Бухтееву.

Ну что ж, пусть не надеется.

Григорий Михайлович (*слышит все это*). Я заполнил анкету.

Бухтеев. Дайте.

Молодой человек уходит. Григорий Михайлович передает Бухтееву анкету.

Садитесь сюда. (*Показал на стул около своего стола*.)

Григорий Михайлович. Благодарю вас.

Бухтеев (*бегло просматривает анкету, бросает ее на стол*). Вот что, Володеев, вы имеете полное право выбирать любую систему защиты, я вас ни учить, ни упрашивать не стану, но все же не делайте из меня дурачка. Что за вздор вы написали! (*Резко*.) Шуточки шутите, в игрушки играть хотите?

Григорий Михайлович. Я... что собственно...

Бухтеев (*гневно*). А вот то! Вы думаете вокруг и около ходить. Со мной это не удастся. Разговор с вами будет короткий, очень краткий! Должны и сами это знать... Своей анкетой вы себя уже наполовину погубили. Если хотите облегчить свое положение, говорите всю правду точно, ясно, коротко, без уверток. Все, что мне надо про вас знать, я и без ваших показаний знаю, а если все-таки спрашиваю, то это значит, что у меня есть свои соображения. Ну? Будете отвечать?

Григорий Михайлович. Я... Поверьте... Мне, поверьте, положительно нечего скрывать и... уверяю вас, я изо всех сил хочу полной ясности, истина для меня благоприятна.

Бухтеев (*угрожающе*). Вопрос первый. За что мы вас арестовали? Сознаетесь?

Григорий Михайлович. Но... но... Именно вот это я и хотел спросить у вас.

Бухтеев. К черту! Мы все эти фокусы знаем, нас на них не купишь. Спрашиваю еще раз и, предупреждаю, последний: за что мы вас арестовали?

Григорий Михайлович. Понятия не имею! Сколько я ни ломал голову, я... Вероятно какая-нибудь прискорбная ошибка или недоразумение.

Бухтеев (*холодно*). НКВД никогда не ошибается и недоразумений здесь также никогда не бывает. Значит, на первый вопрос вы отказываетесь отвечать! Хорошо!

Григорий Михайлович. Я не отказываюсь! Я ничуть не отказываюсь, я даже рад отвечать, но... но... но... Чувствую себя абсолютно невиновным, ни в чем, ни перед партией, ни правительством, ни... наоборот я...

Бухтеев. Это самое ваше «наоборот» я знаю! Гроша ломаного ваше «наоборот» не стоит, вот что вы должны знать. К черту! Значит,

с первым вопросом покончено. Второй вопрос: кто вас ввел в эту организацию:

Григорий Михайлович. Какую?

Бухтеев. Кто вас ввел в эту организацию?

Григорий Михайлович. Но помилуйте! Я даже не знаю, о чём вы говорите! Какая организация? Где?

Бухтеев. Отказался отвечать! (*Опять подчеркнул что-то в бумаге*.) Теперь третья. Кого вы сами ввели в эту организацию?

Григорий Михайлович (*теряясь все больше и больше*). Я не понимаю! Я не понимаю! Нельзя же так! Я, повторяю, рад отвечать, но объясните же мне, о какой организации вы спрашиваете?

Бухтеев. Не я должен объяснять, а вы. И наоборот — не вы должны спрашивать, а я. Понятно?.. Отказался! (*Опять отметил что-то в бумаге*.) Теперь четвертый вопрос: адреса явочных квартир.

Григорий Михайлович (*с воплем*). Но боже мой!

Бухтеев. Бога вы лучше не призывайте. Бога мы сюда непускаем. Не скажете?.. Хорошо! (*Опять делает пометку*.) Пятый вопрос: какие обязанности были вам поручены вашей организацией?

Григорий Михайлович хочет что-то произнести и не может.

Ясно! (*Опять делает пометку в бумаге*.) Отказался!.. Шестой вопрос: какие инструкции вы получали и кому их передавали?.. Не скажете? Отказываетесь?.. Седьмой: с кем вы держали организационную связь и кто ее держал с вами?.. Молчите?.. Отлично! Восьмой: сколько денег вы получили за все это время, на что их истратили, кому сдавали отчетность? Девятый: когда ваша дочь вступила в организацию?

Григорий Михайлович (*задыхаясь, зарыдав*). Но... Бог накажет вас!

Бухтеев (*брзегливо*). Оставьте! Неужели вы не понимаете, что здесь это никому не нужно!.. (*Протянул Григорию Михайловичу лист с протоколом*.) Прочитайте и подпишите!

Григорий Михайлович (*рыдая, дрожащими руками берет лист, пытается прочитать написанное*). «Отказался отвечать».

Бухтеев. Правильно, правильно. Читайте!

Григорий Михайлович. Я вовсе не отказывался. Если бы вы объяснили мне или сказали...

Бухтеев (*простодушно*). Кого вы хотите провести такой ерундой! Подписывайте. Если находите нужным.

Григорий Михайлович подписывает протокол.

(*Взяв бумагу*.) Считаю необходимым предупредить вас: вы подписали свой смертный приговор.

Григорий Михайлович (*лепечет*). Но... но... но... ведь...

Бухтеев. Такой анкеты и такого показания совершенно достаточно, чтобы человека, как вы, поставить к стенке... Можете идти, допрашивать я вас больше не стану, у меня нет времени возиться с вами зря. (*Нажал кнопку звонка*.)

Григорий Михайлович (*не помня себя, вопит*). Но, товарищ следователь... гражданин следователь! Ведь я же... я... вы...

Бухтеев. Я вас предупреждал: ни учить, ни упрашивать не стану. Должны понимать ваше положение, и если вы...

Григорий Михайлович (*перебивая*). Но ведь...

Бухтеев. Спорить излишне. Я, конечно, доложу начальнику, обязан, но, уверяю, он совершенно согласится со мной.

Григорий Михайлович. Гражданин следователь...

Входит конвойный.

Бухтеев. Уведите арестованного!

Конвойный подходит к Володееву, хочет поднять его и увести. Григорий Михайлович вцепился в стул, хочет схватиться за стол. Конвойный силой оторвал его от стола и почти выволок из комнаты.

Довольное лицо Бухтеева.

Картина четырнадцатая

Обширная комната, переделанная в камеру для заключенных. Окно сплошь замазано мелом, закрыто решеткой. Койка у стены. Шахматный столик. Две табуретки. На койке лежит человек. Двое сидят на табуретках, еще двое лежат на полу. Под потолком горит сильная двухсотваттная лампочка без абажура.

Входит Григорий Михайлович с пожитками.

Зворыкин (*лежащий на койке*). Так-с! Еще один!

Григорий Михайлович стоит как вкопанный.

Если хотите, знакомьтесь, не хотите, не надо. Здесь никакие обычай не соблюдаются. И ничто мирское здесь не знает силы. Особый мир. До того особый, что если вы захотите вслух покрыть матом самого Сталина, то можете не стесняться. Во всем Советском Союзе оно невозможно, а здесь вполне допустимо!

Григорий Михайлович. Но... почему?

Зворыкин. Такой уж воздух в этой камере... Позвольте отрекомендовать: еще недавно был главбух Мостстроя, Михаил Павлович Зворыкин к вашим услугам! Эти двое на табуретках приятные люди: профессор университета Василий Васильевич Кораблев, историк, и завагитпропом обкома партии Осип Гаврилович Смыкин, по профессии вор, но, вероятно, сверх того и еще что-нибудь. Рядом с закрытыми глазами таинственный Некто, он не желает называть своего имечка. Мы называем его «товарищ Энкогнито». А вас, позвольте спросить?

Григорий Михайлович. Володеев Григорий Михайлович.
Зворыкин. Очень приятно-с!

Григорий Михайлович. А здесь хорошо! Просторно!..

Зворыкин. Здесь-то? Здесь даже очень хорошо, особенно по ночам-с!

Григорий Михайлович. По ночам?

Осипов. Да вы маленький, что ли? Не понимаете, где вы находитесь?

Кораблев сделал движение, как бы желая остановить Осипова, но не успел.

В камере смертников, вот вы где!

Григорий Михайлович (*зашатался*). Ва... ва... я...

Кораблев (*быстро подскочил к нему, поддержал*). Ничего! Ничего! Это ничего! Тут еще многое рассудить надо, прежде чем... Конечно, если вот так безрассудно брякнуть, как Осип Осипович, еще действительно нестерпимо... Вы бы лучше сели, право... Снимите пальто, сложите и садитесь. Позвольте! (*Снял с Григория Михайловича пальто, сложил вчетверо, положил на пол.*) Садитесь, садитесь. Так вам будет удобнее!..

Зворыкин. Это даже удивительно! Неужели вы не знали, куда вас привели? Ведь приговор вам объявили?

Григорий Михайлович. Приговор? Я... Нет, не объявляли.

Кораблев. Вот видите, я же вам говорю, надо разобраться. Суда не было?

Григорий Михайлович. Мне... Меня только позавчера... Нет, на прошлой неделе взяли. Какое сегодня число?

Осипов. 22 октября 1937 года.

Григорий Михайлович. Меня в ночь на девятнадцатое арестовали.

Кораблев. Так ведь это же только три дня назад. Вас просто-напросто разыгрывают, напугать, подавить хотят... Не поддавайтесь! Чушь и ерунда, головой ручаюсь!

Зворыкин. А более ценного ручательства у вас нет? Нашли чем ручаться!

Кораблев. Юмор висельника. Не понимаю! Вы лучше поддер-жали бы человека, разъяснили ему...

Григорий Михайлович. Вы думаете, это ерунда? Но...

Кораблев. Никакого «но» не может быть. Следственный трюк, безбожный психологический «Жоркин ящик». Слыхали о таком аппарате? Очень вас прошу, будьте спокойны и уверенны.

Смыкин (*поет*).

Голова ты моя удалая,
Долго ль буду тебя я носить!

Пауза. За окном темнеет.

Осипов. Вероятно, часов восемь.

Зворыкин. Уже. (*Вскочил с койки и начал ходить взад-вперед по камере все быстрее и быстрее, заложив руки за спину.*)

Смыкин встал с пола и тоже стал ходить в затылок Зворыкину. К нему присоединился и Осипов. Они ходят какой-то бесмысленной усиленной походкой.

Григорий Михайлович (*тихо, Кораблеву*). Что это они?

Кораблев. Им так легче. Знаете: «Дайте вино отчаявшемуся в жизни и дайте секириу приговоренному к смерти. Пусть выпьют и забудут на время горе свое».

Григорий Михайлович. Что... Что такое? Они как будто чего-то ждут?

За окном раздался какой-то шорох.

Что такое?

Кораблев. Ночной обход.

Ударил железом засов, и дверь отворилась.
В длинной кавалерийской шинели с винтовкой в руках вошел караульный.
Тяжело оглядел всех.

Караульный. Вторая?

Кораблев (спокойно). Вторая.

Караульный (медленно достал из отворота рукава шинели лист бумаги, так же медленно развернул его. Переспросил). Вторая?

Кораблев (опять спокойно). Вторая.

Караульный (Сложив бумагу, прячет в карман). Можете спать.
(Ушел.)

Зворыкин. Никитин все свои шуточки шутит!

Григорий Михайлович. Кто?

Зворыкин. Комендант, тот, кто сейчас приходил. Он очень любит смотреть на нас.

Кораблев. Невозможно понять душу такого человека.

Зворыкин. Да, садист-с!

Смыкин. Он кокаин нюхает. Я это всегда по глазам узнаю. Наши блатари многие нюхают. Насмотрелся.

Слышно, как за окном зашумел дождь.

Зворыкин. В такую погоду хорошо в преферанс играть.
Осипов. И водку в компании пить.

Кораблев. Я помню, как один раз был здесь на балу в Институте благородных девиц. Институт ведь здесь помещался... Не в этом флигеле, конечно, а там, в большом доме... Я ведь университет в девяносто восьмом окончил, на этот бал еще студентом ходил.

Зворыкин. А что в этом флигеле было?

Кораблев. Вероятно, прислуга жила. Тепло поди здесь тогда жили, тихо, укладисто. По воскресеньям пироги пекли. Понюхайтка, Михал Палыч, может быть, от стенок еще пирогом пахнет?

Зворыкин. Пахнет... Сталинизмом.

Кораблев. Если эти стены еще помнят старую жизнь, то что они думают, глядя на нас?.. Вы вчера говорили, Осип Осипович, будто ваша вера заключается в том, что партия знает, что делает. Конечно, на таком граните можно стоять незыблемо. А, по-моему, никакой партии коммунистической уже нет.

Осипов. А что же есть?

Кораблев. Есть один большевизм. Есть орден вроде иезуитов или тамплиеров. Нет, неправильно! Есть стая.

Осипов. Какая стая?

Кораблев. Орден — это сообщество по духу, а стая — сообщество по породе. В стае волков могут быть только волки, неволки в волчью стаю не пойдут и стая не пустит. Так?

Осипов. Это вы какую-то чепуху говорите.

Кораблев. Человечество делилось на расы и народы. Марксисты приказали делить человечество иначе — на классы: эксплуататоры и эксплуатируемые. Это деление так идиотски примитивно, что многие с восторгом приняли его: общедоступные истины заманчивы, даже когда нелепы.

Зворыкин. Так по-вашему коммунизм и большевизм не одно и то же?

Кораблев (горячо). Коммунизм является питательной средой для большевизма. Тиф, конечно, не голод, но именно в условиях голода тиф получает возможность наибольшего развития. Коммунизм — голод, большевизм — тиф. И кончится тем, что большевизм без остатка слопает ваш коммунизм, уважаемый завагитпроп!

Осипов. А что ему нужно — вашему большевизму?

Кораблев. Власть.

Осипов. А для чего власть?

Кораблев. Власть не только цель, но и самоцель. И она у них в угнетении, в запрещении, в уничтожении, порабощении, в насилии.

Осипов. А совесть?

Зворыкин (пренебрежительно). Совесть?

Кораблев. Да, конечно... Мы чересчур часто употребляем это слово, затаскали, затерли... Считаем совесть не то просто стыдом, не то раскаянием... А ведь совесть — это страшная сила!

Зворыкин (иронически). В особенности у бессовестных!

Кораблев. У бессовестных? Гм! Да, у бессовестных! «В их сердце дремлет совесть! Она проснется в черный день!» Это Пушкин. Именно — в черный день! Он ведь очень силен, черный-то день, до беспощадности силен!

Энкогнито (вдруг вскочил, бросился к Кораблеву, резко остановился на полдороге.) А ты... А ты... Ты откуда это знаешь? Что ты можешь знать? Откуда?

Кораблев (после паузы, мягко). Но этого совсем не надо бояться! Это очень хорошо, если проснется.

Энкогнито шатаясь повернулся назад, споткнулся, упал на свое место.

Смыкин. Та-ак-с!.. Понятно!.. А ведь этот самый Энкогнито наш — он ведь палач чекистский!

Кораблев. Об этом не надо говорить!

Смыкин. Почему не надо? Почему не надо говорить? Надо! Жалеть его, что ли, суку чекистскую? Я всякого человека на вкус беру и без ошибки определяю. Дух от этого самого Энкогнито идет самый палаческий! Мучается он сейчас, а... чем мучается? Чем? Пускай скажет!

Раздаются тяжелые шаги. Входит Никитин.

Никитин. Вторая?

Кораблев (встает). Вторая!

Никитин (умышленно медленно достает из-под обшлага бумагу, разворачивает ее, долго просматривает). Курочкин!

Кораблев. Таких здесь нет.

Энкогнито (дергается, встает). Я!

Никитин. Выходи.

Энкогнито (*пошатнулся, остановил взгляд на каждом. Смыкину*). Ты... Идет, говоришь, дух! Идет... идет...
Никитин. Не разговаривать! Выходи!

Энкогнито вышел.

(Вновь взглянул на бумагу.) Володеев! Выходи!

Григорий Михайлович не может двинуться.

Выходи! Ну! (Ткнул его пальцев в плечо.)

Григорий Михайлович механически направляется к двери.

Кораблев (*тихо*). Не разыгрывают, стало быть.

Картина пятнадцатая

Комната Евлалии Григорьевны. Евлалия и Софья Дмитриевна.

Евлалия. Не могу себе простить, не могу себе простить, Софья Дмитриевна.

Софья Дмитриевна. Не мучьте вы себя.

Евлалия. Ведь мне даже не жалко его было. Как я могла! Что-то надо делать, что-то надо делать!

Софья Дмитриевна. Посоветуйтесь с Семеновым.

Евлалия. Его нет и нет. Последний раз говорил — его в Москву вызывают. Наверное, еще не вернулся.

Софья Дмитриевна. Знаете что, голубенькая, пойдите к самому Любкину.

Евлалия. Любкину? А кто такой Любкин?

Софья Дмитриевна. Какая вы! Неужели не знаете? Царь и бог. С мелюзгой вам и разговаривать нечего, мелюзга вам ни в чем помочь не может. Уж если просить, то до самого верха добраться надо. А выше Любкина и нет никого... Конечно, вряд ли к нему дойти можно.

Евлалия. Я попробую... я попробую.

Стук в дверь.

Войдите.

Входит Любкин.

Наконец-то! Здравствуйте, Павел Петрович! Папу моего...

Любкин. Знаю. Отец арестован. Слава богу, что вас еще не тронули.

Евлалия (*изумленно*). А меня за что?

Любкин. Вас-то? А его за что?

Евлалия. Ах да, его тоже, конечно, совсем-совсем ни за что.

Любкин. Вы это лучше оставьте: за что, ни за что! Не в этом суть. Чего вы хотите?

Евлалия. Похлопотать.

Любкин. Похлопотать? Где и как же?

Евлалия. Я... я, собственно, не знаю... но мне советовали... Вот

Софья Дмитриевна советует, говорят, есть какой-то Любкин, начальник, он будто бы все может.

Любкин. Любкин? Ишь ты, Любкин! Ну, этот Любкин не все, а многое, конечно, сделать может. Так что же?

Евлалия. Я думаю к нему пойти. Можно? Как по-вашему?

Любкин. Вы? К Любкину?

Евлалия (*робко*). Я... разве нельзя?

Любкин. Нет, можно. Чего ж, можно... Это здорово! Вы — и у Любкина, воображаю!

Евлалия. Вы его знаете?

Любкин. Малость знаю.

Евлалия. Он очень страшный?

Любкин. Страшный? Нет, отчего же... Страшных людей, надо думать, на свете нет. А вот сильные и слабые есть. Любкин — мужик, конечно, вполне серьезный. Суть не в этом. Зачем вам ходить к Любкину? За отца хлопотать? Вы подумали, надо ли за него хлопотать?

Евлалия (*крайне удивлена*). Как — надо ли?

Любкин. Да вот так — надо ли? «Отца арестовали!» А вы мне скажите, что за отец такой у вас. Вы думаете, что я не знаю? Знаю. Не хочу говорить много, а что он сволочь, скажу.

Евлалия (*возмущенно*). Павел Петрович!

Любкин. Вот вам и Павел Петрович! Что вы накинулись? Такого говорить не полагается? Невежливо? Не принято? Наплевать мне на это. Я большевик, мне можно. Сволочь есть сволочь и сахаром ее посыпать нечего, а надо глотать такой, какая есть. Вы знаете, что я правду говорю. Ведь он у вас камнем на шее висит. Породить породил, а что он вам дал? Вспомните-ка! Вы себя спасти не можете, а из-за какой-то сволочи к самому Любкину пойдете. Еще плакать начнете! Ведь он вас продать хотел, знаете ли вы это? Мне продать, мне! Вот так взять вас своими отцовскими руками и ко мне в постель положить! «Нате-ка вам, товарищ Семенов, пользуйтесь моей дочкой в свое мужское удовольствие, а мне за это беспечальную жизнь устройте». Знаете ли вы это?

Евлалия (*в ужасе*). Он... вы...

Любкин. Вы-то этого не знали, в этом ни одной секундочки не сомневаюсь. Ну, а я знаю. А вот теперь освободили от него, именно вот так — освободили, если рассуждать по справедливости.

Евлалия. По справедливости? Да как же вы... Да как же можно говорить о справедливости, если человек погибает!

Любкин. Какой человек? Гадина паскудная, вот какой человек.

Евлалия (*гордо*). Не смейте, не смейте так! Кто вы такой, что судить можете!

Любкин. Чего же не судить? Если гадов не судить, так всю жизнь загадят.

Евлалия. Да ведь как судить, как судить!

Любкин. Судить попросту надо. Очень даже рад за вас, что вашего папашу в ЧК засадили. Ему поделом, а вам облегчение, пусть не смердит.

Е в л а л и я (гневно). Павел Петрович!

Л ю б к и н (зло). Возмущаетесь! «Человеческое» вам мешает. А подумали о том, чем дело кончится, если ваш папаша будет из вас соки сосать! О парнишке-то своем подумали? Что с сынишкой будет? Черномазых-то беспризорников видели? Вот и ваш Шурик такой будет. Понимать надо, не про совесть талдычить! По-нимать!

Е в л а л и я. Нет, такого я не могу понять. Если моего отца арестовали, я к самому Любкину пойду.

Л ю б к и н (злобно). К самому Любкину? К Любкину? И забавно же это у вас выходит! Знал бы Любкин, заинтересовался бы. Он такие штуки-фуки любит... Так пойдете к самому Любкину?

Е в л а л и я. Пойду.

Л ю б к и н. Ну ладно, будем с вами говорить серьезно, если вы такая... Я ведь еще не все сказал. Главное-то у меня еще впереди... Будете слушать, не боитесь?

Е в л а л и я (настороженно). Что такое?

Л ю б к и н. Только, чур, меня не ругайте. Для вас старался. Я днем сегодня в НКВД по вашему делу ходил, справки наводил, у меня там знакомые есть.

Е в л а л и я (настороженно). Что же такое?

Л ю б к и н (после короткой паузы). Папаша-то ваш сексот. Знаете, что это за штучка? Сексот — секретный сотрудник, то есть, если прямо сказать, доносчик. Уж на что в НКВД не святые сидят, даже и там сексотов за людей не считают, хоть сами и плодят их. Но самая суть в том, что вашего папашу никто за шиворот туда не тянул, добровольно явился, свои услуги предложил. Это было три года тому назад, даже и побольше немногого. Ему, конечно, предложили сначала доказать. Он и доказал. Желаете знать, как доказал? (*Не спеша, вынул из кармана лист бумаги.*) Я выписку сделал... Евтуховых знает? Есть у вас такие? Арестовали там сына года три назад. Это ваш папаша оформлен. То же и с Корольковым. Знали такого? А потом еще Лазарева Ипполита Николаевича. Папаше за Лазарева тогда сто рублей поощрительных заплатили.

Е в л а л и я (задыхаясь). Нет! Неправда!

Л ю б к и н. Ни в одном моем слове не сомневайтесь. Документально установил... А то еще раз совсем уже в пакостном деле участвовал, в таком пакостном, что он было сначала зафанаберился даже. Тут его приманочкой приманили: получишь, дескать, доступ в наш закрытый распределитель. Он и распластался. Ну, полностью права не дали, рылом не вышел, а бутылкой вина за полтинник, коробочкой импортных сардинок и омаром его попотчевали: черт с тобой, кути! Трех человек он тогда под монастырь подвел за омара и сардинки. Одного расстреляли, а двое до сих пор на Печоре лес для экспорта заготовляют. Не угощал он вас сардинами, омаром?.. Что же вы теперь скажете, Евлалия Григорьевна? Пойдете теперь к Любкину? Пойдете?.. Не пойдете! Сами видите — не щадить его вам, а радоваться, что избавились. И даже сказать: спасибо, товарищ Любкин! Вот оно что.

Е в л а л и я (после паузы). Я... к Любкину?.. Пойду.

Л ю б к и н. Да неужели же пойдете? Не пойдете. Главного-то вы не знаете, а если узнаете, то... Я вам это главное скажу, потому что надо. Дело-то ведь в том, что и мужа-то вашего...

Е в л а л и я. Не смейте этого! Не смейте!

Л ю б к и н. Спрятаться хотите? Ладно... прячьтесь, промолчу.

Е в л а л и я. Вадю? Он! Вадю!

Л ю б к и н. Правду говорю. Не один он, конечно, но...

Евлалия обеими руками вцепилась в Любкина, чтобы не упасть. Он осторожно поддержал ее, посадил на стул.

Вот тот-то! Идите после этого к Любкину, спасайтесь.

Е в л а л и я. Ну и пусты! Пусты!.. Я пойду! Пойду! Ведь он... ведь ему там... Этого я не могу! Ну, не могу не идти! Он отец мне... Он... пусты... пусты... Вот сейчас пойду... Вы пойдете со мной? Нет, я сама... сама... не надо, чтобы с вами... (*Схватила со стола шляпку, хотела было надеть ее.*)

Л ю б к и н (остановил ее). Не надо делать глупостей! Если вы такая... Пичужка вы этакая... Да ведь силища-то у вас какая, сила... Я сам все сделаю. Верите?

Е в л а л и я (долго глядя на Любкина). Вам? Да, верю.

Л ю б к и н. А если верите, то верьте... До завтрашнего вечера погодите. Никуда завтра целый день не выходите... (*Вдруг улыбнулся и хитро подмигнул Евлалии Григорьевне.*) Главное, чтобы этого Любкина увидеть, я уж знаю, что ему сказать. У меня такое слово есть, вроде: «Сезам, отворись!»

Е в л а л и я. Вы скажете?

Л ю б к и н. Скажу, скажу. И... не плачете, голубенькая! (*Пошел к двери, но остановился. Пристально смотрит на Евлалию.*) До чего же мне странно смотреть на вас, если бы вы знали... И как вы в наше время образоваться такой могли. Вырастали вы уже после революции. Война, коммунизм, нэп, коллективизация, две пятилетки... И ничего этого ни в вас, ни на вас нету. Словно ничего для вас и не было. Чудно! Сил у вас нет, воли нет, зубов и клыков нет, понимания жизни нет. Погибать вам надо, одно только это и остается. И как это вы не погибаете!.. Вас беречь надо. Для чего? Не знаю. Знать не хочу. Но надо. Я большевик, я ничего не жалею, разрушений не боюсь. Все старое в огне попалить могу. Но вас... вас и для новой жизни сохранять надо, потому что всякая новая жизнь без вас в тартарары провалится. (*Вдруг оборвал речь.*) Находит на меня чепуха какая-то... Тут, конечно, по всему дому буза, наверное, идет, потому что, можно сказать, комната освободилась, а желающих вагон. Так вы не беспокойтесь, внимания не обращайте. Я поговорю, где надо, шелковые будут.

С о фья Д м и т р и е в на. Как вы обо всем подумали.

Л ю б к и н. Мы о вздоре всегда думаем — большом ли, маленьком ли, все равно... Ладно, разузнаю. До свидания. (*Ушел.*)

С о фья Д м и т р и е в на. Он поможет, поможет, поможет... К самому Любкину пойдет! И как вам на пути такой замечательный человек встретился!

Картина шестнадцатая

Оранжерея, в которой помещаются приговоренные к смерти. Никитин вводит Григория Михайловича.

Никитин. Давай, давай! (Приводят связанные руки Григорию Михайловичу так же, как они связаны у нескольких других.)

Дежурный (за столиком). Все?

Никитин. Все.

Дежурный (пошумил). Лишних нет?

Никитин (отошел к двери. Крикнул). Мишка, заводи!

Застучали моторы грузовиков.

Дежурный. Черемухин!

Осужденный встал, но идти не может. Дежурный подвел его к двери. Черемухин идет заплетающейся походкой. Дежурный отворил дверь, втолкнул туда Черемухина и тотчас же ее захлопнул.

Григорий Михайлович (еле лепечет). Это значит так... Это они там...

Среди рева моторов явственно прозвучал сухой короткий выстрел.

Сейчас я... сейчас вот меня...

Дежурный (возвращается). Веденяпин!

Веденяпин. Я. (Рослый мужчина с несколько барственным лицом, не шатаясь, твердо пошел к двери.)

Григорий Михайлович. Почему так скоро... почему они так торопятся... Не успеет войти и сразу выстрел... почему так скоро... Действительно сквозь рев моторов опять раздался выстрел. Григорий Михайлович зажал уши руками.

Дежурный (снова вошел). Курочкин!

Энкогнито встал, но не двигается.

Ну!.. Ну!

Энкогнито. Га-ады! Су-уки! А ты, Колька, ты... (Быстро, почти бегом, пошел к двери.)

Григорий Михайлович. Теперь меня... теперь уж непременно меня... меня... меня.

Сквозь шум моторов слышен выстрел.

Никитин (входит). Володеев!

Григорий Михайлович (почти радостно). Это не меня! Не меня! (Еле ступая ногами, двинулся к двери.)

Никитин. Отставить!

Григорий Михайлович продолжает идти.

Отставить! (Подошел к Григорию Михайловичу, развязал ему руки. Крикнул в приоткрытые двери.) Мишка, стоп!

Воцарилась тишина. Григорий Михайлович завизжал неистовым голосом.

(Грубо.) Брось!

Григорий Михайлович мгновенно умолк.

(Подтолкнул его к выходной двери.) Давай и не приходи больше сюда. Григорий Михайлович. Меня... меня не расстреляют? Никитин. Давай! И прямо к Бухтееву.

Григорий Михайлович проходит коридором и входит в комнату Бухтеева.

Бухтеев. Садитесь. Курите? Курите. (Протянул Григорию Михайловичу пачку папирос.)

Григорий Михайлович схватил папиросы.
Бухтеев поднес ему спички.

Григорий Михайлович (жадно затянулся дымом). Воды!
Бухтеев (налил из графина стакан воды). Выпейте.

Григорий Михайлович жадно пьет.

Вы можете меня понимать?.. То, что вы вышли оттуда, а не остались там, это, конечно, не чудо, но это почти чудо. Объяснять не стану. Укажу на то, что вы можете, если хотите, воспользоваться тем, что вы вышли оттуда и сделать так, чтобы больше туда не возвращаться. Сделать очень мало. Щадить только себя... Вы будете отвечать?

Григорий Михайлович (быстро). Буду, буду!

Бухтеев. Вам сегодня пришлось пережить тяжелые минуты, но в этом виноват не я, вы сами. Зачем вы стали сопротивляться там, где обязаны помочь?.. Сейчас вы выйдете на свободу. Через три дня явитесь на улицу Розы Люксембург в комнату 27 к Золотухину. Вы с ним работаете, кажется с тридцать четвертого года... Забыли?.. Дело вот в чем. Вы знаете Триполева?

Григорий Михайлович. Да. Плановик кожреста.

Бухтеев. Он в вашей квартире, кажется, живет, рядом с вашей комнатой.

Григорий Михайлович. Да, да, в комнате рядом.

Бухтеев. Вспомнили? На этого Триполева материал нужен. Служебная часть вас не касается, ее другие оформят, а вы личное — разговоры, настроения, антисоветские анекдоты. Наберите материал. Постарайтесь. Даю вам неделю... Вы свободны.

Григорий Михайлович взял узелок, вышел на улицу. Идет бесцельно. Вдруг ощущил прилив какой-то свободы.

Григорий Михайлович. Бухтеев... Триполев... Триполев... Триполев... Лалочка... Это хорошо... Никуда не надо торопиться... Какой свежий воздух... (Вынул из узелка кожаные перчатки, натянул их на руки. Приосанился.) Что это шумит? А... вокзал близко... Прекрасно! (Идет вверх по образовавшемуся помосту. Как в бреду.) Было бы неплохо сейчас пойти в опереточный театр на репетицию и там пошутить с хористками... А еще лучше пойти в «Унион». Там сейчас как раз завтракают. Можно застать многих приятных знакомых: Павлик Озеров, наверное, там с князем Туровским. Толстый Борисков, конечно, потянет к столу. Милый бездельник! И станет умолять: мамочка вы моя, любезнейший Григорий Михайлович, да вы только присядьте к нам на минуточку... стаканчик кло де вужо,

а?.. Но еще лучше никуда не заходить. Вот так с полчасика прогуляться и потом сесть на лихача и поехать домой. По дороге завернуть к Дюкову. Вчера он оstellenские устрицы получил. Дорого хочет, каналья, но побаловать себя... что ли... (*По мере разговора Григория Михайловича и движения его вперед вокзальный шум нарастает. Слышно шипение и гудки паровозов.*) Из Петербурга поезд приходит, кажется, в 10 часов 15 минут. По-моему, именно сейчас, скоро... Ох, как много людей на вокзале... Вот эта гражданка, кажется, ровесница Лалы. Ну почему у нее такое измученное лицо?.. Это, наверное, партиец едет в служебную командировку. Их всегда легко узнать, этих партийцев. Они держат себя уверенно, ни в чем не сомневаются. Смотрят удивительно властно. Хозяева!.. А вот этот паренек с бегающими глазенками, наверное, вор. Ищет, где бы украсть чемодан... Но почему все вокруг такое серое? Что это такое серое лежит на всех?.. А да, поезд приближается...

Шум приближающегося поезда. Григорий Михайлович ускоряет шаг и переходит почти на бег.

Вот он из Петербурга идет, из Петербурга...

Голоса. Гражданин, куда вы!.. Сорветесь с платформы, не бегите! Осторожно, гражданин!

Громкий шум поезда.

Крики. Ай! Сорвался!.. Сорвался!.. Сорвался!.. Убился!..

Скрежет тормозов поезда.

Картина семнадцатая

Отдельный кабинет ресторана «Театральный». Любкин и Супрунов.

Супрунов. Что в Москве задержался? Чрезвычайное что-нибудь?

Любкин. Вполне. Личное.

Супрунов. Сказать можешь?

Любкин. Тебе-то? Я только того и жду, чтобы тебе сказать, только об этом там (*кинув в сторону*) не хотел. Об этом здесь под водку говорить хорошо.

Входит пожилой официант.

Официант. Что изволите?

Любкин. У меня, товарищ дорогой, сегодня фантазии нет. Сам сообрази. Еды давай поменьше, да повкуснее, питейного волоки больше. Скажешь, чтоб отпустили из того запаса, который, стало быть, не для всякой хари предназначен. Я сегодня без удержу хочу.

Официант. Вполне понимаю.

Любкин. Ну и соображай. Принеси-ка сначала нарзанчику.

Официант ушел.

Ну так вот. Получил я тайное и чрезвычайно ответственное назначение в Афганистан. Дело тонкое. Там завязан сложный узел восточ-

ной политики: проникновение в Индию и создание угрозы для Англии. Следует установить связь с индийскими коммунистами. Переbrasывать им литературу, оружие, деньги, инструкторов, организовать повстанческие отряды. Главное — вести двойную игру с индийскими националистами: одной рукой поддерживать национальное движение, а другой — направлять в сторону коммунистической революции. (*Засмеялся.*) Доброму вору все впору. Националистами и сам бог велел воспользоваться, они народ очумелый. Скрутить-то их потом никакого труда не составит, а пускай пока с нами в одном дыхле идут.

Супрунов. Серьезное дело.

Любкин. Понимаешь, в чем трудность? Там не доверяют ни одному советскому гражданину, следят за каждым. Мaska представителя Внешторга — я под этой вывеской еду, — конечно, обмануть не может...

Супрунов. Разве в Монголии не почище дела делал?

Любкин. Монголия что! А тут англичанка, ее на кривой не объедешь.

Супрунов. Отказывался, что ли?

Любкин. Не умею я отказываться, когда партия велит... Предложили выбрать помощника. Сначала назвал тебя, да потом спохватился. Чичагина определил.

Супрунов. Сработаешься с ним?

Любкин. Нас с ним дело сработает. Мы на ножах, но в деле с этим не считаюсь.

Входит официант, ставит на стол бутылки нарзана, сервирует стол.

Ну вот, стало быть, и все. Что скажешь?

Супрунов. Большому кораблю большое плавание.

Любкин. Ты это брось, ты дело говори.

Пауза. Официант ушел.

Супрунов. А ты чего ж дела-то не говоришь? Все сказал, а о главном умолчал. Или, думал, я не замечу?

Любкин. Ничего не умолчал.

Супрунов. Ничего? Хорошо! Почему это ты меня с собой не берешь?

Любкин. Управление на тебя перейдет.

Супрунов. Ефрем, не вертись, говори до конца. Спасти меня хочешь?

Любкин (*притворяясь*). Спасти? Как спасти?

Вошел официант, поставил на стол откупоренные бутылки, вкатил столик с закусками.

Официант. Милости просим. (*Ушел.*)

Любкин и Супрунов налили по стопке водки.

Любкин. Чокнемся, Павлуша!.. Спасти не спасти, а в яму мне тебя с собой тянуть нечего. Пьюм!

Супрунов. Будь здоров!

Любкин. Постараюсь.

В течение дальнейшей сцены они пьют почти непрерывно, особенно Любкин.

Если мне погибать надо, то тебе-то зачем? А из Афганистана, брат, не вылезти, никак!

Супрунов. Никак?

Любкин. Тут, Павлуша, как с Иваном-царевичем в сказке: направо поедешь — коня потеряешь, налево — сам убит будешь, а прямой дороги нет. Так? Если я это самое афганское дело плохо вести буду, так меня афганские парни сами на мушку возьмут, либо наши в Москву отзовут, к стенке поставят за провал ответственного задания.

Супрунов. Поставят, конечно. Но ты не провалишь. Справишься.

Любкин. Допустим. Но если я... (*Понизил голос, подвинулся к Супрунову.*) Если я это дело хорошо проведу и до нужной точки доведу, после окончания меня все-таки на Лубянке к той же стенке поставят. Мне для этого дела ба-альшие секреты открыты будут. Международные секреты. Поэтому меня по окончании и ликвидируют. Свидетелей оставлять нельзя.

Супрунов. Да... Примеров сколько хочешь. В Москве-то ни одному человеку не верят, каждого боятся.

Любкин. Еще как боятся! Вот и выходит: каюк!

Супрунов. Отказаться нельзя?

Любкин. Отказаться никак нельзя, сразу крышка. Я же тебе говорю, оно совсем как с Иваном-царевичем. Я это сразу не раскумекал было, сперва даже попросил, чтобы тебя со мной послали, а потом огляделся и... Батюшки-светы, в самую, значит, пропасть меня бросают. Шел, шел и дошел... Точка! И зачем мне тебя за собой тащить? За то, что ты тогда с десятью ребятами на Омельяновском хуторе атакой пошел, меня из плена выручить? Что ж я тебе за это афганской монетой платить буду? Поживи еще! (*Засмеялся.*) Я Петьку Чичагина, сволочь эту назвал.

Супрунов. Зачем?

Любкин. А потому что мразь, хуже его никого и не видел. Сказал ему. Обрадовался, балды кусок! Я давно хотел его под монастырь подвести, да никак в руки не давался, теперь в самый раз.

Супрунов. Ты, конечно, правильно поступаешь, но надо ведь и выход искать.

Любкин. Выхода, брат, нету. Нечего и искать... И чего меня сегодня водка плохо разбирает! Давай участим!

Супрунов. Давай!

Любкин. Что-то нехорошо во мне! Мысли всякие, понимаешь! И такое мне кажется, будто... В городе у нас тысяч до пятисот будет, все они Ефрема Любкина боятся, все! И сейчас ночью от страха перед Любкиным трясутся. А я... я, может быть, этого самого Любкина больше их всех боюсь... Вот...

Вошел официант. Забрал грязную посуду, поставил чистую, выставил горячие закуски в никелированных кастрюльках и сковородах, от которых идет пар. Оглядел столик.

Супрунов. В порядке!

Официант вышел.

Любкин (*показывая на еду*). Что там такое?

Супрунов. Не знаю.

Любкин. Как же так? Ешь и не знаешь?

Супрунов. А тебе не все равно?

Любкин (*пьяно*). Нет, не все равно! Каждая вещь свое имя должна иметь... А если ты не знаешь, как называется, и есть невкусно.

Супрунов. Разве?

Любкин. Рыба, что ли?

Супрунов. Нет, почки-суперфляй.

Любкин. А, суперфляй! Если так, то положи мне!

Супрунов. Ты в Афганистане не дури! Ты подожди там, сколько надо будет, а потом, как осмотришься... беги!

Любкин. Что?

Супрунов. Ты дураком никогда не был, зачем же теперь дураком быть?

Любкин. Это ты... что же такое? Что ты этим хочешь сказать?

Супрунов. Подумай! Проверь!

Любкин. Нечего проверять, проверено. Я с партией с семнадцатого.

Супрунов. То-то ты с партией с семнадцатого. А партия-то была с тобой хоть один день? Наша партия — это осел. Что положишь, то повезет, куда погонишь, туда и едет. Она сейчас идет за Сталиным, спору нет. А ты думаешь, она не пошла бы за Троцким, если бы тогда чуть иначе стояли пешки на доске?

Любкин. Кто мешки-то на осла кладет? Ослом-то кто правит?

Супрунов. Большевики! И вот они-то, а совсем не партия, посыпают тебя в Афганистан: завези туда мешки и сдохни! Почему «сдохни»? Потому что они большевики и ты сам большевик. Ты сам всегда делал то же самое. Мы тут с тобой расстрелы на восемнадцать процентов повысили, а срок ссылок даже на двадцать семь.

Любкин. Да, а что у тебя с Варискиным вышло?

Супрунов. Кормил я его и он что-то несъедобное проглотил. Но врачи констатировали — разрыв сердца... Варискина и Яхонтова мы убили. Зачем... А потому я тебе и говорю: беги! беги..! Тебе невкусно есть, если ты не знаешь, как оно называется. Смешно мне это слышать. Называется! Черт вас знает, зачем вам обязательно название нужно. Чуть только я тебе какой-то дурацкий суперфляй назвал, так ты и попробовать захотел — вкусно-де! Так я тебе, если ты хочешь, сколько угодно суперфляев назову: коммунизм, Советская власть, социалистическое строительство... Мало тебе? Могу добавить: Маркс, Ленин, Сталин. Еще мало? Так я могу и еще суперфляев назвать. Мы с тобой когда-то за коммунизм кровь проливали и умереть готовы были, а ведь коммунизма-то и нет. Суперфляй для дураков есть, а коммунизма нет и быть не может. Потому что борьба не за коммунизм

идет, а за то, кто наверху окажется. Все остальное — суперфляй. Что тебе надо — суперфляй?

Любкин. Я большевик.

Супрунов. Так начерта ж ты Любкина боишься? Что ты мне про какую-то идиотскую измену талдычишь? Все, что большевик делает — полная свобода!.. ото всего свободы. Ни Бога, ни человека, ни закона. Ни одного суперфляя! А ты говоришь — измена! Кому измена? Суперфляй?

Любкин. Нет, я о другом! Убежать можно: и денег куча, и паспорт сварганиТЬ ни черта не стоит. Убежать можно! Да от себя-то куда я убегу? Куда я из себя большевика дену? Что я там такой-то делать буду? Кому нужен? Неужели вся моя жизнь — суперфляй, мать его за ногу!.. А если я, скажем, убегу, чтобы человеком стать... Ты не смотри на меня так, Павлуша. Ты думаешь, человек — это тыфу? Что человека-то, может быть, и нет совсем? А человек... это, брат... он... вот и выходит, убежать мне некуда! (Пьяно кричит.) Настоящее! Где оно — настоящее! Граждане, настоящее укради! Кругом суперфляй! Бей! (Сваливается на диван и пьяно засыпает.)

Супрунов (вызвал офицанта. Показывая на Любкина). Захмелел слегка. Утром разбудите, приведите в порядок. Устал человек.

Картина восемнадцатая

У Елены Дмитриевны.

Входит Любкин. Елена Дмитриевна бросилась к нему, поцеловала. Любкин небрежно ответил на поцелуй. Скинул шинель, бросил на стул.

Любкин. Жива? Давно не видел. Ну, как дела? (С размаху сел на диван.) Я ночью здоровово выпил, буйственно.

Елена. Оно и видно. Поправиться хочешь?

Любкин. Да я уже поправился. Хотя... водка есть?

Елена. Конечно.

Любкин. Налей-ка.

Елена налила стопку водки. Любкин проглотил одним глотком.

Налей-ка еще. (Опять выпил.) Садись. Серьезный разговор будет.

Елена. Серьезный? Ничего страшного?

Любкин. Страшного? Страшное только для зайцев бывает... У меня изменение большое.

Елена. Большое?

Любкин. Уезжаю. Далеко и насовсем.

Елена. Куда?.. Ты прости, прости. У меня вырвалось, это я нечаянно, я знаю, об этом нельзя спрашивать.

Любкин. Нет, отчего же... Секретов нету. В Афганистан еду.

Елена. В Афганистан? Это где-то в Азии? Часть Индии? Англичане? Не в Румынию, значит?

Любкин. Нет, не в Румынию.

Елена. Ну все равно, все равно! Значит, насовсем!

Любкин кивнул головой.

Афганистан — это что-то экзотическое?

Любкин. Какое?

Елена. Экзотическое.

Любкин. И слова-то такого не слыхал. Азиатский Афганистан. Интересного мало.

Елена. Как сказать. Все интересно!

Любкин. Это, конечно.

Елена. Скоро едешь?

Любкин. Отсюда скоро, а в Афганистан этот самый еще не знаю. В Москве поторчать придется.

Елена (еле сдерживая дыхание). А я? А я? Ведь я люблю тебя.

Любкин. Мне тебя брать с собой никак не рука, не такое это дело, афганское-то.

Елена. Значит... (Бросаясь к Любкину.) Но я же люблю тебя! (Обхватила его руками.) Люблю, люблю!

Любкин сидит, не двигаясь.

Значит, мне... конец?

Любкин. Чего же конец? Твоя жизнь еще впереди, пожиешь.

Елена. Но я же... я же... я люблю тебя!

Любкин (глохо). Я тебя тоже. Только ни к чему это теперь.

Елена. Ни к чему? Один поедешь?

Любкин. Выходит, что один. Этот Афганистан... это дело большое.

Елена. А я? Я что же? Маленько? Меня бросаешь?

Любкин. Ты тут оставайся или... я уж не знаю. Подумай, как лучше. Если что надо сделать тебе, сделаю.

Елена. «Подумай»? Это, конечно. Это очень просто, легко: подумай! Я, конечно, подумаю! А ты-то подумать обо мне не хочешь?

Любкин. У меня свои думы есть.

Елена. Свои? Ах так! И ты...

Любкин. Это тебе не сезон на Ривьере, лодка в море...

Елена (вскочила и остервенело). Ты... Знаешь, кто ты? Знаешь?

Любкин (улыбаясь, полусерьезно). Жалко мне тебя, стерва ты моя!

Елена (закричала). Стерва! Я стерва! А ты думал — кто я? Ты думал, что я тебя люблю? Дурак! Разве тебя можно любить? У тебя руки в крови, у тебя душа в крови! Палач! Чекист! Мне одно надо было — только одно — выбраться отсюда, из вашей подлой страны палачей и идиотов! Неужели ты в самом деле поверил, что я люблю тебя? Хам! Раб! Раб рабов! Ты даже на любовь мою не поддался, даже любовь тебе не дорога! Бросаешь, раб! Ты знай, я никогда тебя не любила, никогда!

Любкин. Не... не... не... не любила? Не настоящее?

Елена. А ты верил? Ты верил? Неужели ты верил, идиот, дурак! Мне одно нужно было — уйти на свободу. Ты понимаешь, что такое свобода? Ты можешь ее понять своей рабской душонкой?!

Любкин схватил ее руку и крепко сжал. Елена смотрит ему прямо в глаза. Задыхаясь. Я не боюсь тебя! Я ненавижу тебя! Не трогай меня, ты мерзок! Омерзителен. Разве ты человек? Разве ты собака? Собаку можно любить, а тебя нельзя! Ты должен понять это. Я хочу, чтобы ты понял, тебя любить нельзя!

Любкин. Не любила? Не любила?

Елена. Чекист! Палац! Ты убьешь меня теперь? Убивай! Как я рада, что могу плюнуть на тебя! Как я рада, что могу сказать тебе все! Если не свобода, то... то...

Любкин. Что ж... убить... Не настоящее... Теперь только и осталось... Не на-стоя-щее!

Елена. Убьешь? Убей, гад!

Любкин расстегивает кобуру, вытаскивает револьвер. Елена инстинктивно протягивает руку вперед, как бы защищаясь. Любкин толкает ее в грудь. Она спиной падает на диван, и Любкин стреляет ей в висок.

Картина девятнадцатая

Комната Евлалии Григорьевны. Кровати, на которой спал Григорий Михайлович, нет. Три резких звонка в дверь. Евлалия открывает. В полной форме начальника НКВД входит Любкин.

Евлалия Григорьевна сразу узнала его.

Любкин. Это я! Забыл, в таком виде и явился... Узнали, стало быть, поняли?

Евлалия. Что... узнала?

Любкин. Ну вот — в форме я, в чекистской. Стало быть, дурака валять больше нечего. Черт с ним — одно к одному! Конец Семенову и конец, все равно! Я же вам говорю: одно к одному, понимаете? Нет Семенова. Был, да весь вышел! По-настоящему я Любкин, по на-сто-я-щему. (Почти радостно.) Семенова нет и не было! Выдумал и сам поверил. Семеновым быть не могу, никак. (Его самого что-то по-разило в этих словах.) Не могу?! Хотел быть Семеновым, но не могу. Я Любкин, туда мне и дорога!

Евлалия. Вы сейчас очень взволнованы, Павел Петрович.

Любкин. Я-то? Я сейчас очень даже взволнован, весь взволнован. И я... Я сяду, можно?

Евлалия. Ах, извините, пожалуйста, садитесь, ради Бога. Я и не вижу, что вы стоите.

Любкин. И я не вижу... Ну да все равно, сяду. (Растянул шинель, судорожно снимает ее, не может вытащить руку из рукава.)

Евлалия помогает ему.

(Вскочил со стула, схватил Евлалию за плечи.) Сила-то... Есть в вас сила. Что за сила? Настоящая она?.. Я сейчас до точки дошел, до самой. Что дальше будет, загадывать нечего, а вот сейчас... сейчас вот... Если есть в вас сила, дайте мне ее. В самую яму падаю.

Евлалия. Какая же у меня сила?..

Любкин. Именно только у вас.
Евлалия. Но почему же, почему?

Любкин. Вы настоящая. Вот — это самое слово, вы поймите, — настоящая! Хоть и ничего в вас нету, все же самая настоящая! Мне кроме как в настоящем, спасти себя нет.

Евлалия. Вы...

Любкин (с большой лихорадочностью). Я это сразу увидел, сразу же тогда увидел — вот когда я вас машиной толкнул, помните? Пришел сюда в эту самую комнату, а вы... Смотрите только, а я и увидел! То есть ничего еще я тогда не увидел, совсем еще ничего, а... увидел! И глаза у вас, и голос... Я и спрятался за Семенова, непосильно мне было около вас Любкиным быть... Как, спрашиваю, вас зовут, а вы: Евлалия! Меня и ударило: да неужто и Евлалия! Неужели у нее и у вас все одно к одному в точку сходится! Я думал, мне не зря выходит, никак не может зря выйти и надо за это самое зацепиться.

Евлалия. Почему же? Я ничего не понимаю... Почему?

Любкин. Я же говорю: голос, глаза и к тому же Евлалия. Было, было такое! Давно. Я тогда еще совсем молодым был. Барышня у нас такая была, Евлалией звали. И такое было тогда к ней мое чувство и осталась она, значит, во мне... Ее, может, давно и в живых нет, а она вот живая где-то во мне сидит. Живая! А? Может такое быть, чтобы то, чего не было, через всю жизнь прошло и помереть не померло? Смотрю на вас, а старое во мне новым вскидывается. И вскинулось. Подумал: может быть, Семенов-то... то есть стало быть, я, может быть, я могу? Вообще-то я не могу, а вот здесь, у вас могу.

Евлалия. Что могу?

Любкин. Я... я сейчас... то есть час тому назад... человека убил, женщину... Вот... (Протягивает руки, расстопыривает пальцы.) Убил, как убийцы убивают — с кровью.

Евлалия. Вы?..

Любкин. Ты не ужасайся. Во мне и пострашнее есть. Разве же я один только?.. И во всем этом страха для меня ничуть нет. И ты тоже не ужасайся, страх совсем не в том! Я вот сейчас какой? Я ведь сейчас на таком перепутье стою... Вот его-то страшнее и быть не может. Не в том страх, что на смерть иду, на убой посылают... а в том страх, что мне теперь никуда уйти невозможно, потому что уходить мне не с чем!.. В смерти страхи нет, я в этом ни капелечки не сомневаюсь!.. Вот твой отец под поезд бросился, стало быть, не боялся смерти, стало быть, совсем не в смерти страх... Я ли убью, меня ли убьют, не боюсь. А вот сейчас боюсь. До ужаса!

Евлалия. Чего?

Любкин. А того... что яма! Есть ли я? Кто я такой? Я для него всего себя отдал, сам им сделался, а теперь вижу — не туда шел. Я большевик, а соль-то большевистская не соленая. Конечно, если кто со стороны смотрит, тому кажется, солонее большевиков никого на свете нет: такое строили, такое делали, чего никогда не бывало, чего никакой головой охватить невозможно. А я вот в самую существенную

суть заглянул и вижу: делов много, а соли нет. Нету у нас соли, сольто, выходит, у вас осталась.

Евлалия. У меня?

Любкин. У кого же еще? У вас, у этой вашей Софьи Дмитриевны. У вас настоящее соленое. Смысла у вас, может, и нет, а соль... соль есть. И если таких, как вы, всех без остатка истребить, так и соли не останется, все в трубу вылетит к чертям собачим... Погодите, погодите, у вас Евангелие есть? В детстве моем мне про ту соль читали. Там есть. А что — забыл. Чекистов спрошу: найдут у кого-нибудь Евангелие... Нет, не хочу.. У вас есть?

Евлалия. Нет. (Вдруг.) У Софьи Дмитриевны есть.

Любкин. У Софьи Дмитриевны? Именно у Софьи Дмитриевны! Именно у нее. Лампадка, подсолнечное масло... У чекистов не хочу, хочу у Софьи Дмитриевны.

Евлалия. Я сейчас схожу, подождите. (Быстро вышла.)

Любкин лихорадочно мечтается по комнате.
Евлалия возвращается с Софьей Дмитриевной, у которой в руках Евангелие.

Софья Дмитриевна. Я знаю, знаю, у меня тут закладочка есть. Вот... (Открывает Евангелие, читает.) «Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой, она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попранье людям».

Любкин. Та-ак, на попранье! Больше-то на что!

Софья Дмитриевна. Вот еще здесь — от Луки. (Читает.) «Соль добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит».

Любкин. А если он слышать нарочно не хочет, уши затыкает и шабаш! Что с ним делать? В навоз его? Он думает, будто он соль земли, а нет! В навоз его, на попранье людям!

Софья Дмитриевна, видя лихорадочное состояние Любкина, закрыла Евангелие, тихонько выходит.

Почему у меня ничего хорошего не выходит? С отцом вашим плохо вышло. И с коммунизмом плохо. Проклят я, что ли? Почему хорошее в плохое перекидывается?.. Понятно! За что угольщик ни возмется, все черным сделает. Вот и живи, коли так! Вот и беги!

Евлалия. Что с отцом у вас вышло?

Любкин. С отцом вашим... Вы меня за него, конечно, проклинаете, а я по-хорошему хотел, для вас же, чтобы вам хорошо было... Молчите, молчите! Все знаю, вы по-своему рассуждаете, а я по-своему, вы по-настоящему, а я не по-настоящему. Иначе я не умею, я большевик. Вижу: кроме вреда, ничего вам отец не приносит, я и приказал арестовать его.

Евлалия. Вы?.. Это вы? Нарочно?

Любкин. Не нечаянно же. Несправедливо разве? А, по-моему, вполне целесообразно. А если целесообразно, значит, и справедливо. Зла не хотел ему, да прозевал, занят был, мои ребята и перестарались.

Нежит на мне заклятье: ничего хорошего я сделать не могу! А вот тогда — с самого-то начала, когда я вас увидел, меня тогда сразу потянуло, всем нутром... На что потянуло — сказать?

Евлалия. На что?

Любкин. Меня на... хорошее потянуло. И не для вас, а вроде бы как для самого себя.

Евлалия. Понимаю. И вам хотелось добро делать. Это потому что вы много зла делали. Я это очень-очень понимаю.

Любкин. Подумал: и я, может быть, могу. И вот — не смог. Нежели это уже совсем не для меня и права на это не имею? Потерял. продал за чечевичную похлебку. Стало быть, я на попранье... Я ведь уезжаю, Евлалия Григорьевна, скоро уезжаю, насовсем. Вот я и хочу, чтобы вы мне вашей соли дали, настоящей, соленой. А если нет, как Чичагин.

Евлалия. Павел Петрович! Господи! (Схватила Любкина за обе руки.) Жалко-то вас как, жалко!

Любкин (почти рыдая). Го... го... голубенькая! (Схватил Евлалию за руку.)

Евлалия. Это ничего! Ничего! Вы... вам... Вы ведь потеряли что-то... вы что-то очень нужное потеряли... не сейчас, а когда-то, давно потеряли... Но вы найдете... потому что вы для меня сделали... Нет, нет, не для меня сделали... А почему вы сделали, понимаете? Ведь оно же как раз и есть настоящее, и вы от себя не уходите. Вот куда оно вас ведет, то, что сейчас в вас, вы туда и идите, не бойтесь... Я не поняла, что вы тут говорили, многое не поняла, но ведь вы же видите настоящее, вы же видите настоящее, вы же видите, где оно.

Любкин. Стало быть, бежать?

Евлалия. Куда бежать? Зачем?

Любкин. Нет, это я так... Это я на свое. Я думал — бежать мне некуда и не с чем, а вы говорите... Машишка (показал на пишущую машинку) эта пишущая — настоящее было, а все другое — суперфляй. Вот стало быть и все... Я через неделю уеду. За соль благодарю. Сейчас пойду. (Оглядывается.) Софья-то Дмитриевна куда делась.

Евлалия (открыла дверь). Софья Дмитриевна!

Входит Софья Дмитриевна.

Любкин. До свидания! Прощайте, Софья Дмитриевна! (Протянул ей руку, попрощался и быстро вышел.)

Софья Дмитриевна. Что с ним случилось? Что?

Евлалия. Он такой несчастный... такой несчастный...

Софья Дмитриевна. Кто? Семенов этот?

Евлалия. Он не Семенов. Он...

Софья Дмитриевна. Да сядьте же, успокойтесь... Что такое?

Евлалия. Любкин он... сам Любкин. Мучается. Настоящего, говорит, хочу.

Софья Дмитриевна. Настоящего? Самое не настоящее у

них. Настоящего и быть не может, потому что все оно из злобы вышло и к злобе идет. Все, что от злобы, к злобе и обращается.

Е в л а и я. Да... Меня, говорит, на смерть посыпают, но я убегу.

С о фья Д м и т ри е в на. Убегу? Это не от смерти, это он от чего-то другого убежать хочет, я вижу.

Е в л а и я. Да, да! (Обнимая Софью Дмитриевну.) Мне страшно, Софья Дмитриевна, страшно. Что погубило Вадю и папу? Что погубило... его самого, Любкина? Что нас всех губит?

С о фья Д м и т ри е в на. А этого я не знаю. Навалилось оно на всех и давит. А что оно такое, я не знаю. Вижу я теперь, что оно даже и на них самих давит, на тех, которые взвалили... их, выходит, оно тоже раздавливает... Значит, оно только давить может, а больше ничего. Ну а если так, то оно само себя задавит, не иначе.

К о н е ц

1991

Мысли о прочувствованном и пережитом

*Публикации
в периодических
изданиях*